

KI1276741



ВОЛОГДА·XX ВЕК



Василий ЕЛЕСИН

ПОЛОВОДЬЕ

В Вологодская областная универсальная
Б научная библиотека им. И.В.Бабушкина

Дар Вологодской
писательской
организации



«Вологда • XX век»

Василий ЕЛЕСИН

ПОЛОВОДЬЕ

РАССКАЗЫ

Вологда • 1998

Василий ЕЛЕСИН

Есть на севере Вожегодского района место удивительной красоты: сливаются тут воедино еще не набравшая полную силу Кубена да говорливая речушка Явенга, давшая название большому поселку. В Явенге родился и вырос писатель Василий Дмитриевич Елесин. Мальчику исполнилось четыре года, когда началась война, и восемь, когда она кончилась. Впечатления тех черных, но золотых для него лет и легли в основу книг писателя «Пятачок на берегу», «Одноухий заяц», «Кремешок». Жестоким предвоенным и военным годам посвящен и его роман «Надежда и метель», изданный общим тиражом 110 тысяч экземпляров.

Почти всю жизнь проработавший в газетах Вологодчины, Василий Елесин вот уже три десятка лет живет в Вологде, где и были написаны все его повести и рассказы.

ВАРЕЖКИ

Улеглась деревня на сквозняке, в полях за железной дорогой, по которой можно уехать и на юг, и на север. И на юге, в Петровском, и на севере, в Ельцыне, — десятилетки с интернатами. Родители деревенских восьмиклассников с Нового года думают да гадают, в какую школу пристроить деток. У кого сват ли брат в Петровском, те записывают будущих девятиклассников в Петровскую школу: «хоть к тетке Поле убежишь когда чайку попить, все не у чужих!» Родичи ельцынских жителей лелеют и заднюю мысль: «Райцентр, как-никак. Аттестат дадут — работу недолго выбрать, не у нас в колхозе!»

Попадать, что на юг, что на север — одинаково, на поезде, даль невелика: пятнадцать километров в одну сторону, двадцать — в другую. Поезда, правда, в разное время, но тут уж ничего не поделаешь, железная дорога к маленькой станции пристраиваться не станет.

Так и вышло, что Лиля со Стасиком в девятый класс укатили на разных поездах. Это бы ничего, да Гришины сильно тосковали по единственной дочке и решили перебраться в Ельцыно всей семьей. Сказано — сделано. Прибыл Стасик домой на Октябрьскую, а у Гришиных и окна досками заколочены. Потоптал он мокрый снег возле их избы, у кривой сосны постоял, на том самом месте, где Лиля его первый и единственный раз поцеловала. Сосна тоже была мокрая, жалкая, и Стасик погладил ее по шершавой коре, по белым серным натекам. Пусто стало в деревне. Непривычно.

После праздника, на уроке истории написал он Лиле письмо. «Как ты там, в Ельцыне? — спрашивал Стасик. — У нас в Петровской школе хорошо, ребята чуть не со всего района, только без тебя больно скучно. А так — весело.»

В декабре пришел от Лили ответ. На трех тетрадных страничках в клеточку писала она о своем классе, об учителях, и видно было, что живет ей в Ельцыне отлично. В самом конце коротенькая приписочка: «В воскресенье, пятого декабря, приеду в деревню, охота девчонок увидеть. Встречай, если хочешь, я приеду мурманским.»

Стасик прикинул: до воскресенья оставалось три дня. Оделся, выскочил из интерната на мороз — унять сильно застучавшее сердце. По дороге мела поземка, крутил сухой, колючий снег, бил по лицу и кидался под ноги бегучими белыми ручейками. Стасик шагал встречу ручейкам за Петровское, туда, где дорога врубалась в лес, будто осыпанный зубным порошком, и все думал о Лиле.

До седьмого учились они вместе, а в седьмом попали в параллельные классы. Тогда Стасик захандрил отчего-то. Все будто малости какой не хватало ему, вроде как солнышко плескалось-плескалось в классе, да и зашло за тучу, темнее сразу сделалось, пасмурнее. На перемену, бывало, в коридор — первым, хоть издали поглядеть, узнать: тут ли, не стряслось ли чего, не обидел ли кто.

А вечерами, как и раньше, носились по деревне ватагой, в снежки играли, в прятки, на коньках по реке катались до глубокого снега. Потом привык, что Лилия в параллельном, как и к солнышку за тучей привыкал, зная: тут оно, никуда не девалось, не сейчас, так через час проглянет.

Она-то, конечно, замечала, что Стасик к ней льнет, и вроде, довольна была. Хотя и не больно он боек, а не глуп, учился хорошо, себя в обиду никому не давал. Красавцем, может, не назовешь, да и не урод: лицо доброе, волосы русые, нос... Ну, маленько курносый, ничего не попишешь. Зато у Лилии носик маленький и прямой, точеный. Она вообще красивая. Стасик как-то подслушал ненароком, большие парни разговаривали:

- Была бы у Гришиных Лилька постарше,— с ходу бы женился.
- Больно боек! Такая красотка подрастет, что нас и не заметит!

Стасик особо к ней не приглядывался, своя и своя, деревенская, через три дома живет. Летом в лес — вместе, на колхозную работу гурьбой, пять пацанов да четыре девчонки в деревне, целый, считай, десяток, водой не разольешь.

А в Петровском интернате он затосковал не на шутку. Поначалу еле, бывало, воскресенья дождется, в деревне сразу всех ребят и девчонок в кучу сбивает: пойдём за грибами! Пойдем на речку! Знал, что и Лилия прибежит, она компанейская, дома отсиживаться не любит. Вечером все вместе в кино сходят, посидят на берегу напоследок, а уж домой он ее, хоть камни с неба, один проводит. Всю неделю этих минуточек ждет, жаль что дорога коротенькая, двух слов сказать не успеешь. Постоят они у кривой сосны, попрощаются за руку до будущего воскресенья.

А расставаться-то как не хочется! Возьмет Стасик ее за руку, чтобы попрощаться, и нет силы пальцы разжать, выпустить теплую эту ручку. Так вот держал-держал в один из вечеров, да и приобнял Лилию нечаянно.

Она плечом на секундочку всего прижалась, губами его щеку задела и — бежать.

Стасик потрогал пальцами то самое место на щеке. Не отпускать бы ее тогда, обнять бы покрепче! А вдруг обидится? Чего-чего, а обидеть Лилю нельзя. Это намного хуже, чем самого себя обидеть. Как он без нее? Все-го-то месяц не видел, а весь истомился. Вечерами по воскресеньям в деревне теперь до того пусто, хоть плачь. Наконец-то придет!

В субботу сразу после уроков помчался Стасик на Петровский вокзал. Поезда ждать три часа — пешком за это время в деревню убежишь. Он пешком не пошел, а выбрал товарный поезд, на север нацеленный. Влез на тормозную площадку и покатил в грохоте, в свисте, в снеговой заверти. В километре от деревни подъем, сколько ни разгоняй машинист состав, а в конце подъема скорость все равно не удержит. Тут Стасик всегда и прыгает. Шалости такие строго-настрого запрещены, да что делать, коли ждать мочи нет? Прыгнул.

Субботнему вечеру и воскресному утру конца не было. Стасик слонялся тихий, малость чокнутый. Мать просит:

— Стасик, сходи за водой.

— Да я уж наколол! — отвечает, а глаза блаженные, глупые.

Мурманский приходил в пятнадцать, за час раньше Стасик уж мельтешил на путях у вокзала. Так торопился — перчатки дома оставил и теперь держал руки в карманах. Ветра в тот день не случилось, падал невесомый почти снежок, небо ровной пасмурью затянулось. Сквозь дымку мгlistую, синеватую долго не пробивался прожекторный глаз теплово-за, а когда пробился — замер Стасик: вот оно, сейчас! Проплыли вагоны, плотно забитые в дверях и на крышах снегом прессованным, будто тащили их сквозь снеговую трубу.

Он пробежал вдоль всего состава — Лили не было. «Не приехала! — оплеснула душу горькая волна. — Эх, Лилька, Лилька!»

Повернул Стасик назад к тепловозу, к дежурной по станции с желтым кружком в руках, и тут на землю спрыгнула девчушка в заячьей шапке. Подбежал к ней, остановился, задохнувшись:

— Приехала...

— Да ну, в вагоне какой-то тип привязался, не выпущу, говорит, до Москвы!

— Где он? — напружинился Стасик, но дернулся поезд, потекли мимо зеленые вагоны, взвихривая косо летящие снежинки.

Они и рук друг другу не подали. Стасик думал, что разговорам конца не будет, а тут не поздоровались даже, и язык словно прилип: Стасик молчал и то ли печальным, то ли обиженным казался.

- Ты чего такой?
- Какой?
- Ты не рад?
- Что ты! Знала бы, как ждал!
- Ну, веди в свою деревню.
- Не твоя она, что ли?
- Теперь уж не моя, видно... — вздохнула Лиля.

И пошли они к переезду по путям, пахнувшим гарью, мазутом, сквозным ветром. За переездом белая дорога бежала к околице деревни сквозь поле, сквозь редкие снежинки, которые скользили косо, плавно, будто катились с пологой горы. Иногда снежинки падали Лиле на шапку, сразу пропадая в заячем белом пуху, а самые смелые норовили поцеловать ее в щеки, и Лиля сдувала их, чуть вытянув и приоткрыв губы. А сумерки вокруг все густели, наливались ласковым смуглым цветом.

Остановились у Лиленного дома, грустно и нелюдимо отгороженного от деревни сугробами. Дом поднимался прямо из снега. Темный, большой, он, казалось, горевал: вот, мол, до чего дожил, никому я теперь не нужен... Погладили «свою» сосну по шершавой коре, переглянулись, как заговорщики, улыбнулись и покраснели.

— Папка продать хочет, говорит, дом в Ельцыне купим, а мне жалко! — быстро заговорила Лиля и вдруг, подбежав по целине к огородному отводочку, сильно дернула его двумя руками. Снежный шарик с отводочного столбика скатился на цветные варежки, рассыпался белой пылью. Лиля протиснулась в узкую щель, переваливаясь, увязая, побрела по сугробам к крыльцу.

— Начерпаешь! — испугался Стасик.

— Ерунда! На крыльце вытряхну!

И остановилась.

— Нет, не хочу. Чего там — холодно, пусто... Интересно как: мой дом и не мой...

— Мой немой, — засмеялся Стасик, помогая ей на дорогу выбраться.

— Правда, правда! — не поняла сперва Лиля, потом тоже рассмеялась: — Был мой и не немой, а стал не мой и немой. А ты еще издеваться! — и она сильно толкнула Стасика плечом в грудь.

Он не удержался на ногах, шлепнулся в сугроб и, смеясь, стал подниматься, помогая себе руками. Лиля вдруг ахнула:

— Ты и без перчаток! Все руки голые! Замерзли? Дай-ка!

Варежки сняла, под мышку сунула, взяла его мокрые от снега пальцы в свои, теплые.

— Какие холоднущие! Вот на, одень мои, погреешь.
— Не надо,— отказался Стасик, не отрывая глаз от ее лица,— не надо, растяну!

— Думаешь, рука у тебя больше? Нисколечко! Померяем давай.

Рука Стасика, конечно, была больше.

— Видишь, одинаковые. Надевай без разговоров!

— А сама?

— Мне и так жарко.

И не стал он спорить, натянул цветные варежки, каждым пальцем чувствуя их нежное тепло. Это было не просто тепло, а Лилено тепло, ведь варежки только-только на ее руках красовались, и пахли они ею, ее кожей, ее чистотой и еще чем-то волшебным, сказочным, чем была сегодня вся Лиля. Он даже руки как-то смешно растопырил, чтобы не задеть, не расплескать то волшебное, что несли в себе пестрые варежки, очень уж оно было хрупкое.

— Зайдем к нам,— предложил Стасик.— Чайку попьешь...

— Еще чего выдумал! — снова засмеялась Лиля.— Тетя Нина скажет: «Ну, беда, самоходку привел!»

Ох уж эта Лилка! Верно, мать так бы и сказала, и руками бы всплеснула точь-в-точь так.

— Тогда к Гальке?

— Нет, давай на реку. Не станем в деревню заходить, потом...

Дорога от переезда разветвлялась как раз у крайнего, у Лилиного дома, и один ее отросточек, санный, минуя деревню, катился к реке и дальше, в лес, который чуть виднелся за снегами на том берегу.

— Ну пойдем! — дернула его за рукав Лиля.— Что ты сегодня какой-то... сам не свой!

— Я свой! — улыбнулся он.— Я тебе самый-самый свой!

— Ага, еще один мой немой. Все молчишь и молчишь. Хоть бы рассказал, куда после школы собираешься.

— А ты?

— Что — я? Все ясно-понятно. Дом в Ельцыне купят, этот продадут... С колхозом папка уже распрощался. Попробую поступать, а не поступлю — контор в Ельцыне хватит. Секретаршей стану! — пошутила она.

У Стасика заньюло сердце. Да, видно с колхозом, с домом родным, прощаться и ей и ему. Куда его занесет через два года? Так далеко он пока не заглядывал. Зажмурив на минуту глаза, хотел представить будущее, не смог и махнул рукой в цветной варежке: не все ли равно, где жить, где работать! Лишь бы с ней, с Лилей рядом!

Тем временем спустились к реке. В воскресенье по дороге не ездили, и здесь, на льду, всю ее запорошил снежок, похожий на мех Либиной шапки. Лиля разошлась вовсю: безумолку говорила о школе, о том, что каток недавно в Ельцыне залили, что ей купили коньки на сапожках и она уж два раза бегала кататься...

А сумерки становились все гуще, необыкновенно добрые, родные. Стасик оглянулся: от берега тянулись к ним две цепочки следов, будто залитые синими чернилами. Он подумал, что Лиля, наверно, совсем заморозила руки, с трудом стащил варежки:

— Возьми, погрейся.

— А я совсем-совсем не озябла! — удивилась Лиля. — Потрогай!

Он взял ее руки в свои. Они и вправду теплые были, но все-таки ко рту поднес, грел дыханием своим, нечаянно, чуть-чуть губами их задевая...

Сунула Лиля варежки в карман, на часы взглянула.

— Батюшки! — удивилась. — Вот так поболтали! Поезд через час! И к девчонкам забежать некогда...

Дрогнуло в груди у Стасика.

— Через час? — не поверил. — Только что приехала!

— Ага, только что. Ночь на дворе. Шестой уже...

Назад шли, за руки взявшись, как в детском саду. В стороне грудились черные дома деревни с янтарными окнами, тянулись около домов деревянные поленицы, снегом засыпанные. А время таяло все быстрее, перед вокзалом уже бежали. И попрощаться не успели толком: посадил он Лилю на подножку, обернулась она на миг, варежки из кармана выдернула, кинула:

— Возьми, руки отморозишь!

— Не надо, ты что!

— У меня дома есть!

Стучал поезд, набирал ход, в свете окон вихрились прощально снежинки. Натянул Стасик варежки, гладил их бережно, а красные огни последнего вагона таяли и таяли в белой замяти.

Дома он варежки в портфель спрятал и утром увез их в Петровское. После уроков, выбрав минутку, когда никого в интернатской комнате не случилось, достал варежки, долго смотрел, подносил к щекам, жадно вдыхая Лилин запах. Глаза закроет: рядом, крупно, оживленное ее лицо, шаловливое, заячьим мехом опушенное. И пока были с ним варежки, все длился и длился для Стасика снежный синий вечер, баюкал, окутывал радостью.

А в среду накатила тоска. Смеются над чем-то ребята в перемену. Стасик думает: как они могут смеяться, ведь Лиля — в Ельцыне! Рассказы-

вает учительница литературы о Гоголе, он морщится: причем тут Гоголь? Зашумит метельный ветер в вершинах Петровских берез, Стасик смотрит, как качаются вершины, будто их хлещут белым платком, и думает: может, это ельцынский ветер? Может, еще сегодня утром шевелил он мех на ее заячьей шапочке? И представлял, как Лиля прячет оковеневшие руки под мышки.

В четверг после первого урока попросил он Колю Афонина прихватить после занятий его портфель, сам — пальто внакидку, да на вокзал. И уже через полчаса, к вагонному окну прислонясь, слушал глухие перестуки колес, как хорошую песню. Потянулся знакомый подъем, потом и деревня показалась, вся в снегу. Первый раз проезжал ее Стасик без остановки. Странно это было, зато спокойно: никто из знакомых не увидит, не спросит, что он тут делает посреди недели.

Промелькнул заколоченный Лилин дом, и представил на миг Стасик, что живут они в нем с Лилей вдвоем. Везет он на тракторе большой воз березовых дров, чтобы Лиле зимой всегда тепло было, а она, сбжав с крыльца, торопится отводок отворить, на него, усталого, смотрит и улыбается лукаво. Вот идет он с охоты, за поясом большая лиса, хвостом снег метет — воротник Лиле. Вот выходят они вместе из дома, в кино собрались и ведут за руки совсем маленького мальчишку...

Тут мысли так далеко полезли, что Стасик смутился и вышел в тамбур. А Ельцыно все быстрее мчалось к нему.

На ельцынском перроне постоял, поразмыслил. Наступало то самое время, когда в Петровском уроки кончались. Стал искать дорогу к школе. Оказалось, вела к ней, все в гору, длинная прямая улица с деревянными тротуарами. Шел, внимательно Ельцыно разглядывал. И хотя поселок был как поселок, он Стасику нравился: здесь Лиля жила. И школа была как школа: у входа суетня, гомон, ледяные дорожки накатаны, но все не как в Петровском, все лучше, — ведь здесь Лиля училась!

Стасик долго у входа слонялся, девчонок с портфелями и в белых шапках разглядывал. Выбегали все незнакомые, а спросить у них, где Лилин девятый «б», он стеснялся почему-то. Стало темнеть в поселке, из школы учителя с тяжелыми сумками начали выходить. У молодой и доброй на вид учительницы осмелился он спросить про Лилин класс.

— Девятый «б»? — переспросила она. — Уроки у них давно кончились. А кого тебе нужно из девятого «б»?

— Да так... — замылся он, не мог простую Лилину фамилию выговорить.

— Кончились уроки! — повторила учительница и мимо прошла. Стасик приуныл. В большом поселке Лилию разыскать, да еще вече-

ром, нечего и думать. Переехали Гришины недавно, вряд ли кто их здесь знал, а жили у родственников каких-то. Стасик вспомнил, что Лиля о катке рассказывала, надежда снова в груди трепыхнулась. Остановил мальчишку побоевее, тот и дорогу показал.

Людей на катке не было почти, пацанов пять-шесть гоняли шайбу по шершавому льду. Посидел Стасик на скамейке, горько упрекая себя. Ведь учительница наверняка знала, где живет Лиля, а если не знала, так помогла бы узнать. Теперь что же делать? Замерзшие ноги одну о другую поколотил, поплелся, не солоно хлебавши, на станцию.

Вдруг переменялось что-то на улице, Стасик не сразу и догадался — что. А просто шли двое навстречу: парень в меховой куртке и девушка в шапке заячьей. Далеко еще до них, но Стасик понял — она. Остановился, поджидая. В этот миг обхватил парень девушку за плечи, закружил, а потом вместе упали они в пышный сугроб. Рванулся Стасик туда, на помощь, но не нужна была помощь: когда подбежал, парень уже поднял девушку, снег с ее пальто отряхивал, а Лиля хохотала взахлеб. Она не узнала Стасика даже когда он в двух шагах оказался, потом смутилась, покраснела, выдохнула с великим удивлением:

— Ты?!

Если бы Стасика ударили изо всех сил, если бы ни за что, ни про что связали руки и ноги, а потом били плетью на виду у всей школы — и тогда, наверно, было бы легче. И он захлебнулся в жестоком водопаде обиды, да не только сам обидой этой захлебнулся, он облил ею и Лилю с головы до ног, он мог бы весь мир, всю Вселенную в ней утопить.

— Вот ты какая...

— Стасик, стой! Погоди, Стасик!

А он уже летел, не разбирая дороги, спотыкался, падал, снова вскакивал и снова бежал, в какие-то переулки сворачивал, грохотал по деревянным ельцынским тротуарам, мчался, пока в свете станционных фонарей холодные строгие рельсы не блеснули. И захотелось ему броситься на эти бездушные рельсы перед самым бешено грохочущим поездом.

Неожиданно подумалось Стасику, что они трусом его посчитают, испугался, мол, того хмыря в меховой куртке, и запоздалая злоба осыпью на сердце рухнула. Рванулся он назад, но в ярости слепой все тыкался не туда, а потом запугался вконец, не представлял, в какой и стороне этот проклятый каток. От боли, от гнева, от обиды задыхаясь, ходил он по ельцынским улицам быстро и долго, пока снова к вокзалу не прибился. В полупустом зале ожидания сел на скамейку усталый, пустой, одинокий. Поезд на юг уходил только глубокой ночью. Уткнулся Стасик лицом в ладони и замер.

Сколько просидел он так — десять минут, час, три? Неизвестно, не было теперь для него времени. Даже не думал ни о чем, сковало оцепенение, забытье глухое. От лица ладони отнял, когда понял: трясут за плечо.

Лиля, со слезами на глазах, в шапке заячьей, набок сбившейся, склонилась к нему:

— Стасик! Ты что, чудак?

Стиснув зубы, он уперся в ее лицо сухими, сразу повзрослевшими глазами, выпрямился и резко сунул руку за борт пальто. Не выхватил — вырвал оттуда цветные варежки.

— На! И — уходи.

Не взглянула на варежки. Присела рядом, за плечи обняла по-матерински, как маленького:

— Обиделся... Эх, Стаська, Стаська! Экая беда стряслась, подумаешь! Дурак наш Митька Козлов в сугроб меня толкнул. Что, у тебя не бывало, скажешь? Одноклассниц за косы не дергал, в снег не толкал? Разве на это обижаются? Да я сто таких Митек на один твой мизинец променяю!

Вроде бы и не слушал Стасик, горбился, каменно-чужой. Но с каждым мгновеньем обваливались где-то внутри у него тяжелые глыбы обиды, боли, тоски, звенела, рождаясь заново, сильная нежность к девчонке в заячьей шапке.

— А я... — тихо прошептал он, — я жить без тебя не могу...

И судорожно, со всхлипом, вздохнул.

* * *

Они жили недолго, но счастливо и умерли в один день: она — от родов в Мурманске, куда вышла замуж за моряка, каждую зиму приезжавшего в Ельцыно. Он разбился на самолете после окончания летного училища. И в последние секунды, когда самолет штопором резал тучи над дальневосточной тайгой, ему вдруг показалось, что вокруг лунная зимняя ночь, а он примеряет тесные лилькины варежки.

ТАНЦУЮЩИЕ БЕРЕЗКИ

С Зайцевой мы в одном классе учились, с Галей-то, и жили в соседних деревнях — она в Наволоке, а я — в Назаровской. Волок до школы долгий, так я все поджидал ее по утрам. Солнышко ли, дождь ли, я спозаранку на своем крыльчке дежурю, тот берег Важенки наблюдаю. Места у нас высокие, раздольные, Назаровская с Наволоком, что девки-озорницы, через речку Важенку перемигиваются. Как-то приезжал к нам городской художник, неделю жил, все нахваливал: «Райское место! Тут не жить, так где и жить!». Оно, конечно, ежели създали поглядеть...

Галя мне давно нравилась, с пятого, поди, класса. Да и не мне одному. Глаза у нее большие, серые, брови стрелками выгнуты, лоб крутой, а про волосы и говорить нечего: темно-русые, непослушные. В косу заплетет, так им и в косе не сидится, каждый волосок высунуться норовит, пушистая коса-то делается, веселая. И надо лбом, сколько не причесывает, а гладко не выходит: топорщатся волосинки, в колечки завиваются, да и только. Галя расстраивается, а то невдомек, что ребята с ума сходят, на ее кудерышки глядя.

Хохотушка она была, насмешница. Где смех да шум, да игры всякие — там и Галю ищи: С малышкой тоже возиться любила, а я знал, что она в пединститут собирается. Правда, с институтами нам всем погодить пришлось. На комсомольском собрании постановили: год после школы в колхозе отработать. Ребята особо не печалились: в десятом нам удостоверения трактористов выдали, председатель технику обещал и заработки верные. Девчатам, конечно, хуже. Почти все которые места — заняты, одна дорога — на ферму.

В Наволоке тоже небольшой скотный двор держали, до сотни коров стояло. Галя туда и устроилась: мать у нее доярка, да и прибалывала, а тут все-таки рядом, на своих глазах. Раз такое дело, и я бригадира попросил, чтобы меня с моим «Беларусем» за Наволоцкой фермой закрепил: корма подкинуть, навоз в поле вывезти, молоко на центральную усадьбу доставить, и все такое... От Назаровской до Наволока километра полтора, на тракторе оно незаметно, считай, что дома.

Той осенью мы с Галей не на шутку сошлись. В Наволоке из молодых она одна и оставалась. Другие три доярки уж к пенсии подбирались, а дочки ихние по городам разлетелись, что ласточки осенние. Да в Наволоке хоть Галя удержалась, а в нашей-то Назаровской вовсе шаром покати: ни одной девчонки, кроме пятиклассницы Лидки Стуликовой. И на центральной усадьбе их не лишка, за каждой невестой пять-шесть женихов увивались, в девках ни одна не засиживалась. А кому из ребят невесты не отколетя, тот помается-помается, да в город, либо в пьянь беспробудную ударится...

Я не к тому, что на безрыбье, мол, и рак рыба. Да будь в Наволоке хоть двадцать девок, одна другой краше, ни на кого бы, кроме Гали, и не взглянул. На сердце, понятно, беспокойно: ребята постарше стали в Наволок навевываться, иной за десяток верст припрется к Гале клинья подбивать. Ну, тем мы с Валькой Ситниковым скоро от ворот поворот показывали, да и сама Галя на них не льстилась. Обсмеет, обконфузит — чеши, милый, откуда пришел, не солоно хлебавши!

Часто я к ней в деревню бегал в тот год, перед армией. Вроде бы и так день-деньской в Наволоке, а вечером трактор домой стоню, поужинаю — куда податься? К Гале, понятно. И спускаешься с берега к Важенке. Быстрая она, светлая, с рыбными омутками, перекаты, как стеклянные, каждый камушек под солнцем огиажен. У Наволока Важенка петлю скидывала, и сразу под деревней, в излучине, широкий луг пойменный, коров туда по осени выпускали. За лугом рощица березовая, до того удалая, задорная, ну вроде как гурьба девчонок на лужок поплясать выскочила: каждая березонька наособицу изогнулась. Бежишь, бывало, к Гале, на речку поглядишь, на березки эти радостные, — петь хочется. А тут и наволоцкие дома, немного их, в восьми дворах всего жили. Раньше-то, говорят, деревня дворов на сорок стояла, да уж мы этого не помним.

Одно только мне не по нутру: в Наволок заходить — никак избы Дмитрия Иванцова не минуешь, а он насмешник, зубоскал, на весь колхоз славился. Все и сидит, караулит прохожих: не у окошка, так на крыльечке, не на крыльечке, так в огороде. Никого не пропустит, чтобы не подковырнуть, складно да метко, как снежком в лоб. Увидит меня:

— Здорово, жених!

— Что ты, — говорю, — дедушка! Какой я тебе жених?

— А мне жениха не надо, это уж Галькина отрада. Когда на свадьбу-то позовешь, ядрена вошь? Хоть бы дернуть стопку старому отопку!

— Полно, дедушка! — смеюсь. — Водка — яд!

— Это, брат, все говорят. А по мне так стакашек яду лучше всякого мармеладу. Давай, не зевай. Прстоишь тут, Галинку-то и уведут!

Поговори с ним! Я глаза в землю, да ходу. А он еще и вдогонку чего-нибудь загнет.

О свадьбе я и сам подумывал. Гале намекнул, а она в смех:

— Ты что, Игоречек, соломенной вдовой меня сделать хочешь? Смотри! Вдовушки — народ ненадежный! Лучше сперва в армии отслужи!

— Не дождешься ведь! Вон у нас холостяжки сколько!

— А я в институт поступлю. Так что не расстраивайся.

Не мог тогда уговорить, а теперь каюсь. По-другому бы, может, все обернулось.

Ладно. Отработали мы зиму на Наволоцкой ферме, а весной мне, как положено, повестка. С фермы прикатил, трактор под окошко поставил, заходу в избу. Что такое? Мать слезами уливается, отец ее строжит:

— Развела сырость! Не война! Все служат, и твой Игоряха не хромой, не браковка какая-нибудь. Радоваться надо, а она...

Перекусил я на скорую руку, одеваюсь.

— Куда? Опять в Наволок? — бранится мать. — Хоть бы последние денечки дома посидел...

А слезы кап, кап... И верно, одна сырость.

— Я скоро, мама!

Хотя какое уж там скоро!

На улице весна во всю мочь, травка свежая, березки на лугу танцуют зеленокосые, воздух — не надышишься! Бегу под угор к Важенке, не до весны мне, не до красоты — с Галей бы успеть попрощаться, наглядеться бы на нее, шутка ли — два года разлуки!

Дед Иванцов тут как тут, на своем посту, в огороде.

— Далеко ли правишься, Игоряха? — кричит.

— В армию! — отвечаю.

— Однако, армия-то не в той стороне. Дак на море, али на сушу?

— Не знаю еще.

— Не на море, выходит, не на сушу, а по Галькину душу? Валяй, охраняй рубежи, только девку привяжи. Она ноне ушлые!

Постоял я у Галиного окошка, в доме все тихо, как и нету никого. Зашел все-таки.

— Кто там? — мать Галины спрашивает.

— Я, Анна Александровна, Игорьь.

— Ох, Игорек, проходи, посиди маленько. Всю меня изломало, встать не могу, вот Галюшка на ферму и убежала: два-то стада управить — не шутка!

— Так я схожу подсоблю! — повернулся да на ферму.

Заглянул на двор — тихо, доярки с вечерней дойки по домам разбре-

лись, только в одном углу шебаршится тихонько: Галя навоз из-под коров выгребает. В сапогах резиновых, в фуфаячке, платок по самые брови — старушка-старушкой. Меня увидела, остановилась:

— Игорь? Чего потерял-то? — и в серых глазищах смешинки запрыгали.

— Тебя, — отвечаю, а сам лопату у нее отбираю. Отдала без слова, да и со стороны заметно: умаялась за день-то. Два стада, пятьдесят коров подоить, накормить да избиходить — и здоровый мужик наломается, не то что девчонка.

Присела Галя на кормушку, стукнула корову ладошкой по морде:

— Не лижись, Зорька! Все слижешь, Игоречку ничего не останется!

А у меня на душе кошки скребут. Коров вычистили, молоко в бидонах из молокоприемной на ледник стаскали, бредем домой, Галя все и допытывается:

— Чего ты, Игоряшка, сегодня какой-то не такой?

— Да вот, — говорю, — повестку получил.

Она аж с лица сменилась. Голову опустила, идет, запинаясь, а мне-то каково на нее, на убитую, смотреть? Утешаю:

— Брось, чего ты? Не на век в армию-то. А давай распишемся?

Молчит, только головой качает. К дому подошли.

— Подожди, — просит, — я посмотрю, как там мама, да на Важенку сходим.

Жили они с матерью вдвоем, отец давно бросил, еще когда Галя в четвертый класс бегала. С той поры ни слуху от него, ни духу. Пил отец-то.

Долгонько я на лавочке у ворот сидел. Выходит Галя — у меня и сердце опустилось, такая она нарядная. В новом платье, в туфельках, в косу голубая лента заплетена, а лицо бледное, похоже, плакала. А может и уработалась, денек-то выдался ей не легонький.

Спустились мы по тропке на луг, а там и к Важенке, на крутой бережок, недалеко от рощицы веселой березовой. Сели рядышком на камушке, обнялись. Солнышко за нашу Назаровскую закатилось, на воду тени легли, туман кудерышками белыми над Важенкой завивается, первый соловей запосвистывал где-то, а мы все наговориться не можем, и все об одном.

— Ты только дождись меня, Галенька, — умоляю. — Только дождись. Жизни мне без тебя нет и не будет.

Вскочила она, за руку меня тянет. И побежала впереди к березовой рощице. А там место топкое, туфельки свои нараз начерпала, однако до крайней березки дотянулась, за ствол ухватилась. Дернула свою голубую

ленту так, что вся коса распустилась, рассыпалась и крепко-накрепко, тремя узлами повязала ее на березовый ствол.

— Вот как крепко затянула! Так и ждать тебя стану, Игоречек! До той поры, пока ветер эти узелочки не развяжет, твоя будет Галя.

В деревнях у нас обычай давнишний: уходит в армию парень — девушка ленту на березке повязывает. Вернется он, коли висит ленточка, стало быть, ждет подружка. Только привязывают больше на веточку березовую, да одним узелком, а моя Галя от всей правды на стволе тремя узлами свою ленту затянула. Смотрю я на нее, вижу ножки ее мокрые, платье синее, кудерышки надо лбом, ленту голубую на березовом стволе вижу, и такая защемила сердце тоска, нежность, так жаль стало подружку мою ненаглядную, что схватил я Галю на руки, да и понес к берегу, трепетно, крепко, как самую великую драгоценность. Сердце из груди выпрыгнуть готово, слезы на глазах закипают, а вида не показываю, ворчу:

— Ну вот, ноги промочила, сляжешь завтра, вода-то ледяная, и будет у вас в избе лазарет...

Она за шею мою руками уцепилась, к груди жметесь, шепчет неразборчивое. Вдруг встрепенулась, как птица, и так крепко поцеловала, что голова у меня кругом, а ноги чуть не подкосились.

Проводил я Галю домой, обнялись на прощанье на крытом ее крыльце, да и замерли, будто чуяли беду свою...

Служба мне выпала не особо тяжелая, службишка, прямо сказать. Посадили шофером на продуктовую машину — вольный казак! Поехал на склад, загрузился, приехал в часть — разгрузился, и все дела. Часть наша по округе широко раскидана была, намотал на спидометр порядком. Скучал, конечно, без Гали, чего говорить. Первые полгода чуть не каждый день письма писал, случалось, и в дороге. Приткнусь в глухом месте на обочине, книгу на колени, бумагу на книгу и рисую всякие ласковые слова до того, что помстится: сидит Галя рядом, а я с ней разговариваю.

Галя подробно на каждое письмо отвечала. И о ферме расскажет, и об одноклассниках, кто куда пристроился, кто женился, какая замуж вышла. Писала, что трактор мой Юрке Маклакову отдали из Федоровской, нашей же бригады деревня, от Наволока километра полтора. Я Юрку-то плохо знал, он армию отслужил давно, а заныло ретивое. Парень холостой, проворный, свободный, — устоит ли Галя моя? Осторожно в письмах намеки делаю, как, мол, дела на ферме, как Юрка себя ведет, с кем в кино ходишь? Она утешает: плохого не думай, служи спокойно, я этого пьянчугу Маклакова на дух не переносу, да в институт готовлюсь, не до кино мне и не до гулянок.

Долго ли, коротко ли, до весны дотянули. А весной принесли от Гали письмо, слезами укапанное до того, что чернила расплылись, еле прочитал. Умерла ее мать, Анна Александровна. Болела перед тем сильно, районные врачи спасти не могли. И не старая еще, пятидесяти не стукнуло, да ведь с семнадцати годов на ферме, и домашний воз без мужа тянула: сено припаси, дрова, дочку малую обшей, обстирай, одень. Изработалась Анна Александровна...

Ох как тяжело, кручинно на сердце сделалось! Днем и ночью дума неотвязная: как там Галя моя одна-то в пустом доме? Маялся-маялся да и направил два письма: Гале и матери. Галю уговаривал, чтобы шла в наш дом жить, в Назаровскую, а мать просил принять ее лучше родной дочери. Сам прикидываю: в семье Гале полегче будет, горе на людях не столь прижимисто, и мама поможет, приголубит. А через год сам вернусь, быстро пролетит время. Ну это со стороны быстро, а когда день-деньской одно и то же в голове перекатываешь, так службе-то и конца не видно, год за десять покажется.

Мама отписала, что она бы со всей душой невестку будущую приняла, и отец не против, но Галя заупрямилась, стесняется в чужой дом идти, никакие уговоры не помогают. Дождусь, мол, Игорька, пусть все честь по чести будет. От Гали письмо получил — та же песня. Я, пишет, в институт поступлю, так зачем на два-три месяца к вам в дом переходить?

Вот невезуха, так невезуха, размышляю. Поступит она в институт — это сколько же мне еще ждать? В город ехать, квартиру там снимать? Не больно охота, по дому уже соскучился, по Назаровской, по речке Важенке — как я без них? А врозь жить, она в городе, я в деревне — тоже худо, да и боюсь, не отбили бы Галю в том институте. Поставил ей условие: учиться, мол, поступай, я не против, но свадьбе чтобы быть непременно сразу, как отслужу. Письмо это отправил, ответа жду, а его нет и нет. Себя браню: дурак ты дурак, девчонка только-только мать похоронила, а ты со свадьбой лезешь, все мысли у тебя о самом себе. Ясно, обиделась.

Июнь уж прокатился, июльская неделя минула — нет от Гали письма. Поехал в рейс, заскочил в городе на почту, отстучал телеграмму: «Почему молчишь?» Опять безответно. Матери написал: узнай, что с Галей. И снова жду. Черным для меня тот июль получился. На небе солнышко, леса зеленью захлебнулись, радость кругом, раздолье, а я места не нахожу, с лица спал, ребята беспокоятся — не заболел ли часом?

В начале августа письмо от матери получаю, тоже какое-то непонятное. Пишет, что уехала Галя в город, в институт поступать, а барахлишко домашнее которое продала, которое соседям раздала, видно, в Наволок вернуться и в думке нет.

Что тут скажешь? Хоть бы знал, где искать, куда писать, была бы надежда до сердца ее достучаться, прощения попросить за обиду невольную — я все полагал, что на меня Галя рассердилась, вроде я ей дорогу к учебе перекрываю. А у меня ведь и в мыслях такого не бывало! Не согласилась бы на свадьбу сразу, так подождал бы и пять лет, а то и в город бы перебрался, все равно без нее мне не житье.

В августе два письма ей на институт отправил и запрос в приемную комиссию. Ответили из института, что Галина Зайцева среди абитуриентов не числилась. Так вот и последняя ниточка оборвалась.

Я уж к тому времени догадывался, что не в моем письме загвоздка, посерьезнее что-то стряслось. А что посерьезнее? Понятное дело: увели мою Галю. Опутал, видно, какой-то добрый молодец. Нередко ведь бывает: парень в армии, а под конец службы подружка ему кукиш покажет. Думаю так, и обида мне горькая. Эх, говорю, Галя-Галенька, а еще ленту на березке тремя узлами затягивала! Видно век свой у девчонок — с глаз долой, из сердца вон...

Время все раны лечит, говорят. К концу службы и моя обида малость потускнела, вглубь опустилась до поры. Предлагали на сверхсрочную остаться, чуть было не согласился, да жаль стало отца с матерью: одни старики в деревне кукуют. А чтобы куда на завод или на стройку — об том и не помышлял. Галя изменила, так речка Важенка меня ждет. Она-то подруга надежная, так же, поди, щебечет, журчит по янтарным своим камушкам, поет песенки светлые.

Встретили меня, как водится, с радостью, вся Назаровская гуляла. Я под шумок Валу Ситникова спросил, не узнал ли чего нового про Галю? Нет, говорит, как в воду канула: ни к себе в Наволок, ни девчонкам-одноклассницам никакой весточки. Уезжала, так всем говорила, что ненадолго, на экзамены только, а зачем дом порушила, все продала — непонятно.

Тут меня будто обухом по голове стукнуло: плохое что-то с Галей стряслось! Может, и в живых нету. Мало ли случается в дальних дорогах: убьют без свидетелей — ищи-свищи! Галю, тем более, искать-то некому кроме меня, а я, охлямон назаровский, не догадался даже милицию запросить!

Тошно стало от таких мыслей в родном доме, потянуло на берег Важенки, к березкам нашим, к танцующим. Оторвался потихоньку от застолья, мост через Важенку перебежал, да берегом к тому месту, где последний разочек с Галей на камушке миловались.

Вечер выдался точь-в-точь, как два года назад, только вода нынче пораньше спала, перекаты явственно обозначились. Сел на камень. За спиной — Наволок, впереди — родная Назаровская, закатным сол-

нышком насквозь прохваченная. Важенка на перекатах ласково плещет, мурлычет, что котенок угревшийся. Вроде и не было армии, не пролетели два годика невозвратных, вроде, поверни голову, и вот она, Галя, рядом на камушке сидит, косу пушистую на груди руками перебирает...

Оглянешься — нет, китель на мне со значками, фуражка на голове, а где та вода, что два года назад мимо нас текла? Попробуй, найди ее...

Кинул я камушек в воду, вскочил и чуть не бегом к рощице, к танцующим нашим березкам. Подхожу и впервые в жизни озадачился: а отчего они веселые такие, что как девчонки на лугу в пляс пустились? Дошел до топкого места, где Галя тувельки чуть не оставила, пригляделся, мать честная! — как это раньше-то не замечал? Ведь на болоте рощица поднялась, каждая березка за свою кочку уцепилась и ствол каждая выгнула наособицу: одна в комле, другая повыше. Не от хорошей, стало быть, жизни пляшут эти березки, оттого и высокие не растут, сколько помню их, все как подросточки.

А вот и она, березонька наша, на которую Галя ленточку голубую повязывала. Весь ствол не только что глазами, руками ощупал — нет ленточки, хоть и не мог растрепать ветер три крепкие узелка. Неужто девчушка какая безголовая отвязала, позарилась? Вдруг на том месте, где ленточка была, надрез заметил, старый, глубокий. От всей правды, видно, чиркнули ножичком-то. Сок березовый из надреза выступил, будто слеза Галинкина...

Не развязали, выходит, ленточку, ножом перерезали. Кто тут был, что случилось — ума не приложу. Долго стоял у корявой этой березки, пока ноги в сапогах не заныли от холодной болотной воды. Выбрался обратно на берег, да по тропке — в Наволок. Солнышко давно закатилось, а светло кругом и просторно: белые ночи начались. Мимо избы деда Иванцова шагаю, он у открытого окошка папиросу смолит. Меня увидел, руку козырьком сделал, приглядывается:

— Однако, Игоряха?

— Он самый, дедушка.

— Отвоевался, воин! Оборонил отечество?

— Так точно! — отвечаю, а у самого на душе потемки.

— Да, парень, проворонил ты Галинку-то нашу, променял эку девку на солдатскую кашу!

— Не знаешь ли, дедушка, куда уехала она?

— Чего не знаю, того не знаю, парень. А вот из-за чего, так пожалуй и не секрет.

— Не секрет, говоришь?

— Не секрет. Ты Юрку Маклакова спроси. Проходу ведь он ей не давал, шаромыжник. Днем на скотном дворе лапает, а ночью напьется да в избу ломится, всю деревню переполошит. Как уезжать-то, Галина больно невеселая ходила, что в воду опущена. Прошлым летом одинова гляжу, а она с ножиком к Важенке бежит, я ишшо подковырнул, ну, говорю, Галинка, и снасть у тебя, всю рыбу в реке переколешь! Девка-то шутлива, а тут слова не уронила, зыркнула на меня глазищами да бегом под угор, к березам. Ну, смекаю, видно соку березового прихотелось. Из-за Юрки она хозяйство порушила, не иначе. Не зря тот в Наволок глаз не кажет и на ферме после Галинки не бывал. Не избидел ли ее стервец?

Распрощался я с дедом, бреду к Галиной избе, самого и ноги не держат. Гляжу, окошки заколочены, крыша прохудилась, калитка в огороде с петель сорвана. Поставил я калитку на место, на крылечко крытое поднялся — в дверях замок заржавленный. Сел на ступеньку, закурил, и такое горе меня скрутило, хоть волком вой...

Да что тут много размазывать!

Сейчас вот в Федоровскую иду, с Юркой Маклаковым разбираться. Не дай Бог, если дедко правду сказал...

СТАРЫЙ ДОМ

Дом стоял не у подножья холма и не на вершине его, а посередине, будто усталый старец, у которого не хватило сил дойти до цели. Он и впрямь был похож на старика, немощного и седого: фасад по подоконники вдавился в землю, заколоченные окна бельмами усталились на дорогу, черная тесовая крыша местами поросла плесенью и уродливо сторбилась. Густая зелень скрыла следы тропинки, и не понять было, с какой стороны раньше подходили к крыльцу, на котором угнездились теперь кусты молодой крапивы.

Сперва Александр Михайлович бессознательно обходил стороной ссутулившийся и одичавший дом, который мать никак не решалась продать, хотя давно не жила в нем. Большой и сильный человек, он был беззащитен перед грудой трухлявых бревен, а чувство собственной беспомощности всегда выбивало его из колеи. Сегодня он тоже не собирался идти к старому дому и не пошел бы, если бы не попал с утра в правление колхоза.

Председатель принял его сухо, кивнул на стул, не прерывая разговора с парторгом. Спорили они о том, сколько тракторов и машин надо перебросить во вторую бригаду, чтобы скорее закончить silosование. В кабинет то и дело входили люди, здоровались с Александром Михайловичем и, казалось, тут же забывали о нем. Минут через двадцать председатель споткнулся глазами о его фигуру, равнодушно спросил:

— У вас что-нибудь срочное? Нет? Извините, совещание животноводов собираем сегодня, некогда.

Отвернувшись, он снова занялся своими делами, всем видом показывая, что ему сейчас не до праздных посетителей. Александру Михайловичу стало неловко оттого, что мешает занятым людям, он осторожно поднялся и пошел к двери. Никто не остановил его.

Он слегка покраснел, вспомнив про утреннее тщеславное чувство, с которым намеревался предложить председателю свои услуги на время отпуска.

Ногой сбив с крыльца самый большой кустик крапивы, Александр Михайлович присел на прокаленные солнцем, крепкие еще плахи. Напротив крыльца сиротливо торчал кол, чудом уцелевший от невесты когда разобранного огорода. Чуть поодаль, посреди бывших картофельных грядок, трепещущим зеленым шаром распустилась береза. Сколько он помнил себя, береза была вот такой: веселой и крутобокой.

Дом отец собирал сам из сруба, купленного в дальней деревне. Каждая половица в нем была знакома, а все вместе они чудесным образом пахли материнскими руками и ржаным хлебом. Теперь, сидя на крыльце, Александр Михайлович чувствовал вину перед домом, перед его дряхлостью и одиночеством, и осуждал себя за то, что не мог, как отец, перебрать этот дом по бревнышку, вставить новые рамы, заменить стропила и настлать крышу. Не мог; если бы даже захотел, потому что давно забыл, как держат в руках топор.

Стало вдруг неуютно. Резко поднявшись, Александр Михайлович торопливо спрыгнул с крыльца. Он шел прочь, сутулясь, путаясь в густой траве, и не смел оглянуться. Мнилось: оглянись — и увидишь, как старый дом обиженно плачет, щуря незрячие глаза.

* * *

Дорога, спускаясь с холма, круто изгибалась, шла мимо сельповско-го магазина, уходила к реке. Александр Михайлович в раздумье постоял у магазина, потом поднялся по щербатым ступенькам и потянул на себя тяжелую, выкрашенную синей краской дверь. Внутри было сумеречно, прохладно. Несколько старух стояло в очереди у прилавка. Они, как по команде, повернули головы на скрип двери. Взглянула на вошедшего и продавщица, держа на весу совок.

— Здравствуйте,— стесненно сказал Александр Михайлович.

— Здравстуй, батюшко! — ответила одна из старух.

Он подошел к прилавку и от нечего делать стал рассматривать уставленные вином полки, изредка косясь на людей. Странно, он не увидел ни одного знакомого лица. «Чего ж тут странного,— тотчас поправил себя Александр Михайлович.— Семнадцать лет не был...» Повернувшись лицом к очереди, он заметил, что продавщица снова пристально посмотрела на него. В тот же миг он подался вперед, оперся кулаком о прилавок. На лице женщины мелькнула растерянность, губы задрожали в жалкой, недоверчивой улыбке, но глаза уже вспыхнули приветом и в их искрящейся глубине Александр Михайлович явственно, как в книге, прочел: «Вспомнил?». Он смешался, опустил голову и, неловко потоптавшись на месте, быстро пошел к выходу, понимая, что она провожает его глазами, в которых сейчас нет ничего, кроме недоумения.

«Наташа. Наташка! Вот так свиделись...»

Александр Михайлович шел, не разбирая дороги, а в глазах стояло далекое осеннее утро, которое он встретил на жнейке близ Наташиной деревни Рябушихи. Лошади шли ровным, спорым шагом. Деловито крутилось мотовило, пригибая к ножу белесые, с желтизной стебли. Солнце вышло из-за гряды волокнистых облаков и бросило поток нежаркого света на семью высоких сосен, что грудились на другом конце поля. Вот там-то, у сосен, и заметил Сашка сперва мечущуюся девичью фигурку, а потом с десяток проворных белолобых телят. Взбрыкивая, телята ловко спасались от своего пастуха в густом ячмене.

— Ты что, полоротая! — гаркнул Сашка девчонке и побежал выгонять телят. Вдвоем они выдворили веселых бычков за ветхую изгородь, а уж тогда только признал он в телятнице свою бывшую одноклассницу.

— Наташка! Я-то думаю, кто это скотину на потраву пустил!

— Ну, Санька, и глотка у тебя луженая — страсть!

— Сказывали, уехала ты из деревни.

— Как уехала, так и приехала.

— Не поглянулось в няньках?

— Да ну тебя! Не в няньки я ездила, а к дядьке в Воркуту. Думала в техникум поступать.

— Не поступила?

— Сам видишь.

Наташа потупилась и стала чертить прутиком мелкие полосы на утоптанной дорожке. Потом вскинула глаза, и Сашку вдруг с головы до ног обдало жаром. Будто прирос к месту, сапог не оторвать от земли.

— Ну чего стоишь? Кони, поди, заждались.

— Погодят. Приходи на игрище к нам.

— На твою пляску глядеть?

— А хоть бы и на мою.

— Не стоит дорогу топтать. Иди, иди. Вон председатель, даст он тебе пляску!

Сашка вразвалку, не торопясь, шел к жнейке, часто оглядывался, а она все стояла на дорожке: стройная, в повязанном по-старушечьи платочке, из-под которого сбегала на грудь русая витая коса.

Как-то раз Александр Михайлович попытался представить себе тот ядреный сентябрьский день, чтобы хоть мысленно перенестись в него

из своего прокуренного, осточертевшего кабинета в управлении. И — не смог. С отвращением оттолкнул грудь сводок, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза, но видение не приходило, лишь в уши еще назойливее лез гул и скрежет тяжелых машин, проползавших по мостовой. Взглянув на свои белые, дряблые руки, тяжело лежавшие на столе, он как-то отчетливо понял, что молодость ушла. Ушла, не вернешь, хоть криком кричи...

«А второй раз встретились на воскреснике. Я еще опоздал тогда...»

* * *

Девчонки у скотного двора встретили его смехом:

— Долго спишь, жених!

Они ловко орудовали вилами, накидывали тяжелые пласты навоза на тракторные сани. Отшучиваясь, Саша отобрал у кого-то вилы и сразу по неповторимому смеху угадал, что Наташа где-то здесь, в озорной девичьей гурьбе. Азартно вонзил он вилы в сочную, переплетенную соломо́й массу и стал кидать ее на сани, с удовольствием ощущая, что мускулы упруги и крепки, что сам он молод и свой среди шумной стайки девушек, с которыми рос, вместе купался и вместе воровал горох в колхозном поле. Когда сани были нагружены, он, будто невзначай, придвинулся к Наташе. Она стояла раскрасневшаяся и довольная, капельки пота мелко поблескивали на крутом лбу.

— И ты пришла?

— А я что — рыжая?

— Ты не рыжая. Красивая ты, — сказал он совсем тихо.

— Не врй! — она смутилась и покраснела.

— Поедем сгужать?

Наташа кивнула головой. Трактор, урча, дернулся, все, кому хотелось прокатиться в поле, повскакали на сани, держась за черенкивил. За ревом трактора не слышно было ни слова, и девчонки, перестав шушукаться, принялись толкаться. Улучив момент, они навалились на Сашку и прямо-таки сбили его в рыхлый, податливый снег. Падая, он успел ухватиться за Наташину телогрейку. Вместе с Наташей и упали в сугроб под восторженный визг подру:

— Вот уж теперь я тебя не отпущу!

— Отстань, Санька! Я ведь тебя не толкала!

Смеясь, Наташа отбивалась от него, а потом, изловчившись, бросила в глаза горсть снега. Он прижал ее всем телом и, не отряхиваясь, поцеловал румяное, смеющееся лицо. Наташа сразу вырвалась, выскочила на тракторную колею.

— Бессовестный! Девки вон все видели...

Саша шел позади, грустный от того, что она обиделась, и счастливый от своего первого, снежного поцелуя...

* * *

«Как хорошо все было! И как давно...» — вздохнул Александр Михайлович, опускаясь на травяной холмик у реки. Потом усмехнулся: «Вишь, как меня разобрало. Чуть не до слез. Знала бы Скворцова!»

Скворцова — так он называл жену — сухая и желчная дама, жила с ним больше восьми лет, но он не помнил, чтобы она хоть раз прослезилась за эти годы, приласкалась к нему, или, на худой конец, пришла в ярость. Детей у них не было, и, может быть, поэтому просторная городская квартира тоже напоминала ему учреждение. Каждое лето Александр Михайлович намеревался уехать прочь от надоевшего казенного духа квартиры, от опостылевшей стильной мебели, над которой тряслась жена. В долгие часы ночных раздумий он все чаще тосковал по лесу, по простору, по вольному воздуху, но до нынешнего года так и не мог заставить себя поехать в деревню...

К реке, чуть выше того места, где сидел Александр Михайлович, подбежала ватага мальчишек. Они еще на бегу стаскивали с себя рубашонки, штанишки, с визгом и смехом бросались в реку.

Чей-то карапуз запутался ногой в штанине, отстал от всех, заторопился. Наконец, ему удалось скинуть штанишки, а на майку уже не хватило терпения, так и сунулся в воду.

«Собрался все-таки. Приехал. Все здесь передо мной: и детство, и юность. И родина. Взять да остаться? К чертовой бабушке и квартиру и... Брось! — тотчас осадил он себя. — Хватился. Не сможешь ты, брат, теперь жить в отцовском доме. Ведь ты просто-напросто ничего не умеешь: ни сеять, ни косить, ни бревна обтесать. Топорища не насадишь, веника не свяжешь. Как младенец. Даже телевизоры ремонтировать не возьмут, потому что КБО за сорок километров, в райцентре...»

Александр Михайлович горько улыбнулся.

«Вот как отомстила мне деревня. Уйти было не просто, а вернуться... Вернуться куда труднее. Видно, как ни привязывай отломленную ветку к дереву, — не прирастет».

Он с завистью наблюдал за ребяташками, потом поглядел вдаль, на три старые березы, будто шагавшие друг за другом по берегу.

* * *

Так же стройно шагали они по берегу и в ту неестественно светлую ночь. Белые руины церкви призрачно дремали на стыке зорь. Мягкий

туман кипел над речной ложбиной, с травы скатывалась роса, холодная и крупная, как горох. На дороге дышала теплом сомлевшая к ночи пыль. И тишина, какой не бывает в городе, плотно слилась с полумглой.

Наташа еще стеснялась его, рослого, широкоплечего парня. Когда он бережно поцеловал девушку, она прильнула лицом к груди, попросила, чуть слышно:

— Не надо... больше.

И, словно извиняясь, добавила:

— Я ведь первый раз так. Как с тобой...

— Наташенька! Вот уедем мы отсюда...

— Уедем? Куда? — удивленно перебила она.

— Как куда? В город, само-собой. Чего мы тут забыли? Палочки в книжке? По двести грамм на трудодень?

— Может, полегче будет, Саша. Боязно мне. Недолечко в городе пожила, а как-то зазябла вся. Каждый денечек речку нашу вспоминала. И дом здесь, отец с матерью. Трудно, да что сделаешь? После войны вон какая голодуха была! Пережили ведь...

— Да ты подумай путем! Учиться там можно. Институт какой-нибудь кончить. А тут? Жизнь свою загубить? Ведь мы с тобой молодые, хоть на людей поглядеть надо!

— Кабы только поглядеть да назад...

— Все равно, возьму вот я тебя сейчас, Наташка, да и унесу. За три-девять земель, в тридесатое царство!

— А может и унесешь. Ты — сильный...

* * *

«Эх, ошиблась ты, Наташка! — думал Александр Михайлович. — Не нашлось во мне такой силы. Да и тебя я, наверно, только выдумал. На деле все проще: захотелось замуж — прощай, Саша! А я тогда уверен был, что прав на все сто процентов. Какая тяга была: на мир поглядеть, себя показать. Да и голодно было в деревне, что верно, то верно. Что ж, повидать успел многое. И грузчиком поработал, и подсобником на заводе, и у станка. Десятилетку вечернюю кончил, институт. Все, как запланировано было. Только полюбить ничего не сумел. Может, права тогда была она, Наташка? Мерзну я в городе...»

Александр Михайлович мысленно оглядел длинный Суворовский проспект, по которому тысячи раз проходил из дома в управление и обратно. Зимой вдоль проспекта дул ледяной ветер, летом обдавали гарью бесконечные вереницы автомобилей. И всегда стоял грохот, многократно отражающийся от стен высоких серых домов. Видение на секунду

заслонило и речку, и бор на том берегу, и бездонное небо. Чтобы стряхнуть с себя оцепенение, он встал и спустился с откоса на мост.

«А убежал я отсюда как-то неожиданно, нелепо. Приехал в отпуск Мишка Буркин. Выпили. Ну и...»

* * *

Как сейчас помнится:

— Поедем, Сашка! Устрою! Как сыр в масле... Ты мне верь!

— А что? Поеду! Я давно собираюсь.

— Верно. Как сыр...

В самый разгар гулянки Саша тихонько выбрался из избы и подался в другой конец деревни, откуда неслись звуки гармошки и девичьи песни. Голова была ясной, тело налилось бесшабашной силой.

Наташа уже ждала его. Снова брели по теплой пыльной дороге за реку, в бор. Присели под раскидистой, в два обхвата сосной.

— Надумал я ехать, Наташа. С Мишкой.

— В Сибирь? — охнула она.

— А что? Обещает без документов устроить. Огляжусь, паспорт достану, комнату найду. Приедешь тогда?

— Куда же я теперь без тебя?..

Наташа крепко обняла его за шею, прильнула. Распаленный, Саша опрокинул ее на землю...

Через два дня он уехал с Мишкой. Наташа, провожая, плакала на виду у всех, и у Саши больно заныло в груди от недоброго предчувствия.

Мишка сдержал слово.

— У нас, паря, стройка такая, — сказал Саше мастер, когда они втроем допивали вторую поллитровку, — справку твой колхоз по нашему запросу с ходу пришлет. А пока можно и так. Вкальвай, ладно. Сделаем.

Не повезло тогда Саше. На третий же день не уберется, сорвавшейся балкой сломало правую руку. Три месяца провалялся в больнице. Когда стали шевелиться пальцы, послал Наташе одно за другим три письма. И не получил ответа. Лишь через полгода написала мать, что давно уже вышла Наташка замуж и ждет ребенка.

* * *

Александр Михайлович поднял голову. Мысль, которая только что мелькнула, неожиданно поразила его своей простотой и значимостью: «А ведь это первая любовь у меня была — Наташка. Ведь только ее мне и не хватало всю жизнь, только ее!»

Он снова остро, всем существом ощутил мучительное желание повернуть время вспять, хотя и знал, что не может повернуть его, как не может заново, по бревнышку перебрать старый, завалившийся отцовский дом. Но наперекор всему он резко повернулся и торопливо, словно боясь опоздать, пошел обратно к магазину.

— Пришел все-таки? Ну здравствуй, Александр свет Михайлович! — Наташа протянула через прилавок небольшую крепкую руку. — Постой здесь, я магазин закрою, все равно на обед пора.

Она вышла на крыльцо, невысокая, плотная, прогремела снаружи замком и ушла за дом. Появилась уже с противоположной стороны, из склада, примыкавшего к магазину.

— Как это надумал приехать-то? Сколько годов не бывал, а тут — на тебе! Еле узнала. Постарел... Садись вот хоть на ящик.

— Да ты не беспокойся, Наташа. Я ведь так, на минутку. Знакомых в деревне почти не осталось. Новостей за семнадцать лет накопилось, должно быть, много, а и рассказать некому. Дай, думаю, хоть к Наташе зайду, — Александр Михайлович говорил каким-то ненатуральным голосом и совсем не то, что надо было, — это он чувствовал и от этого терялся еще больше, не зная, как вести себя.

— Новостей, говоришь? Есть и новости... — Наташа не торопясь обтерла прилавок тряпкой.

— Как ты-то живешь?

— Живу, — пожалала она плечами. — Как все, так и я. Мужик трактористом в колхозе, а я вот тут восьмой год верчусь, что белка в колесе. Сейчас, вроде, полегче стало, детки выросли, помогают.

— Много их у тебя?

— Сын да две дочки. Меньшая-то в пятый класс перешла, а старший, Сашка, в десятый пойдет на осень.

— Как же ты не дождалась меня, Наташа? — спросил он вдруг дрогнувшим голосом.

— Что уж теперь вспоминать! — Наташа с минуту молчала. — Горько мне те месяцы достались, Саша, ох, горько. Как только не поплакала, что только не передумала! Ни строчки ведь ты не написал, как в воду канул.

— В больницу я попал сразу, как приехал. Руку перебило.

— После-то узнала, письма твои пришли. Кляла себя, да уж поздно было...

— Три месяца не могла выдержать? — Александр Михайлович прищурился, чувствуя, как в груди закипает что-то нехорошее, злое.

Наташа зачем-то подошла к двери, потрогала ее и, вернувшись обратно, сказала сурово:

— Не хотела говорить тебе, расстраивать, да, видно, надо. Тяжелая ведь я после тебя осталась. Знала бы, где устроился, приехала бы сразу. В деревне-то оставаться — стыдобушка: девка, только-только семнадцать годков, а нагуляла, успела... Ой, да что с тобой?

Александр Михайлович, откинувшись на штабель ящиков, бледный, широко хватал ртом воздух, шарил рукой по груди.

— Ничего, ничего, Наташа. Отпустило. Сердце. Прости.

— Дура я, дура старая! Бухнула. Дай-ка виски потру, может пройдет.

— Уже прошло. Бывает это у меня, — соврал Александр Михайлович.

— Досталось, видно, и тебе в жизни-то...

— Еще как! — слабо улыбнулся он и почти приказал:

— Рассказывай!

— Все я тогда передумала. То ли уехать куда? То ли аборт сделать? А иной раз наревлюсь да и на веревку запоглядываю. Тут и подкатился ко мне Толя мой. Стал замуж звать. Любил он меня шибко, покрыл девичий грех. Кроме нас двоих никто и не знает, что Сашка ему не родной. Только свадьбу сыграли — и пошли от тебя письма. Я плачу. Толя молчит, переживает. Всего было...

Наташа оперлась спиной о прилавок, смотрела на него грустными глазами. Она все еще была хороша, лишь первые тонкие морщинки тронули высокий и чистый лоб, да коса не сбегала по-девичьи на грудь, а короной улеглась на голове. Александр Михайлович шагнул к ней, положил руку на плечо.

— Столько лет молчала... Намучилась... Ох и дурак же я! Но ведь это же просто здорово, это замечательно, Наташа, — у меня — сын! Сын! А может, еще не поздно, Наташа?

Она медленно покачала головой.

— Поздно, Саша. Поздно. И не думай о том. Дети большие. Им-то за что жизнь калечить? Пусть уж будет, как есть. Знаешь, и ладно. Уехал бы ты, а? — с тоской спросила она.

— Уехать? Теперь? — Александр Михайлович отшатнулся. — Не смогу я теперь уехать, Наташа, пойми, не смогу! На все соглашусь: молчать буду, к дому твоему близко не подойду, только не гони. Некуда мне теперь ехать...

* * *

Солнечный день сменялся гулким вечером, когда Александр Михайлович вновь подошел к старому дому. «Найду плотников», — размышлял он по дороге, — лесу достать колхоз поможет. Еще до осени можно при-

вести все в жилой вид. Работа? Много ли мне надо на жизнь? В крайнем случае пойду в школу преподавать физику».

«А ты представляешь,— словно шепнул ему его же недоверчивый голос,— какое это будет мучение: жить рядом с ними и ни слова, ни взгляда? Сын будет проходить мимо окон равнодушный, чужой. Вынесешь ты эти мучения, эту боль?»

«Да! — яростно бросился он в атаку.— Да! Зато это — мое мучение, моя боль! И она в миллион раз дороже безликого, равнодушного прозябания. Может быть, и беда моя в том, что всю жизнь сторонился, избегал боли, радости, лишних переживаний. Даже на подлость научился отвечать лишь равнодушным презрением. Вот так, наверное, бывает при длительной невесомости: рад упасть с высоты, насадить синяков, только бы не чувствовать себя бесплотным воздушным шариком. Что ж, мне повезло получить свои синяки. А вместе с ними и великое чувство земной тяжести. Никому и никогда не отдам я теперь мою боль, потому что в ней — и моя радость!»

Но когда кривая тень старого дома поглотила его, возбуждение схлынуло, и он почувствовал тягостное беспокойство. Подсознательно он уже знал, что уедет отсюда, и от этого предчувствия как-то устало, по-стариковски дрогнуло сердце.

ИСТОРИЯ

— Свободно? Это надо же, в такую жару и — свободно. Ух и пекло устроила нам небесная канцелярия! Портвейнчиком балуетесь? Правильно. Водочка сегодня голову к ногам пригибает. Нет, спасибо, спасибо... А впрочем, что ж, за знакомство можно. Вот шеф подойдет, и я закажу лафитничек. Будьте здоровы! Нет, нет, не беспокойтесь, без закуски как-то прочувствованнее. Х-х-ха!

Экое ведь зелье! Рюмашечка махонькая капелька, а что с нами делает? Я вот теперь и руки на стол могу положить, а сперва-то не мог, прятал, да... Пальцы, извините, приплясывают.

Много ли надо! Глоток водки да хвост селедки, вот и сыт, и пьян, и нос в табаке. Мысль, понимаете, проясняется, и вспоминаешь времена, когда еще человеком был. Розовые такие, давние времена...

Официант! Тридцать третьего бутылочку, да сыру, сыру! Мне один знакомый профессор советовал: если бы, говорит, все пьяницы сыром закусывали, ни одного бы в больницу с больной печенью не привезли. Ну, он профессор, ему виднее. Хотя, между прочим, сам зашибает. Несть от нее спасения ни правому, ни виноватому, ни длинному, ни горбатому. Еще по единой? Благодарю. Давайте выпьем за молодость. Как поэт сказал: «Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорви-голова!»

Вы вот, должно, думаете: пьяница, да еще и болтун. Не отпирайтесь, не отпирайтесь, на лице написано. Что еще написано? Многое можно прочесть в лице человеческом. Я вам лучше скажу, чего у вас не написано. Не вижу в вашем лице презрения, добродушием прикрытого, ханжества этого не вижу. Повидал я на своем веку ханжей. Вперится на тебя с состраданием, руку помощи, фигурально выражаясь, протягивает, а в глубине, на дне глаз-то приветливых презрения к тебе мутным таким облачком вспыхивает. И поймешь вдруг, что не руку он тебе протягивает, а барский мизинец: держи, мол, тварь, карабкайся изо всех сил, только меня не испачкай.

Сострадающие эти большей частью положение имеют в мир сем. Да вы их и сами встречали: осанка прямая, взгляд стальной, походка уве-

ренная, рукопожатие крепкое. Однако ж, руку пожимая, поверх тебя смотрит или сквозь тебя, не знаю уж, что они там такое видят. Говорят отрывисто и непререкаемо. После повышения по службе руку подавать перестают, приветствуют небрежным кивком первое время, а потом вас в упор не замечают. Что улыбаетесь, знакомо, а? Самое смешное, что случись упасть такому вот твердокаменному, и станет он жалким, изжеванным, вонючим, как ношенная портянка...

Впрочем, не то я... Вы — бесхитростный, этим и привлекаете. Вот и сейчас знаю, о чем думаете: как я до жизни такой дошел, это вам интересно. Угадал? Вот видите, угадал. Не спешите? История поучительная, хотя, как говорят учителя литературы, типичная.

Да, и я был невинным мальчиком, и у меня было когда-то детство розовое. Ну отчего бы не вспомнить, скажем, сорок седьмой. Весна. Знаете то время, когда сквозь ломкую прошлогоднюю травку-белоус пробиваются веселые такие, с бледнотцой, лучики-травинки. На елках хвоя умытая, а из серой земли вылезают маленькие мясистые початочки, мы их пестиками звали. И впрямь на пест бабы-яги похожи. Вот идешь по глинистой борозде, пар сытный от земли поднимается, а в глазах круги зеленые, пупок к позвоночнику припаян. И ничего-то в ту минуту вкуснее да желаннее этих горьких пестиков нет.

Уморились мы с Валькой, упарились. Зашли в деревню воды попить. Двор высокий такой, дверь на щеколду запирается с веревочкой, как сейчас вижу. Входим. Тетка на кухне у печки возится, в люльке младенец орет. Вынесла она нам попить, глянула на меня пристально, да шашть в кухню. Тащит три картошинки нечищенные, горячие.

— Съешь,— говорит,— а то ведь умрешь!

И слезы по щекам катятся...

Я на всю жизнь слезы эти запомнил и благодарностью к русской бабе проникся. Верьте: нет ничего достойнее простой деревенской русской бабы. Жалостливые они, любвеобильные, на весь белый свет их любви хватит, да пожалуй еще и останется. Вот в городе, заметь: стоит в очереди мегера-мегерой, ни за что, ни про что тебя област. А и к ней ключик подобрать можно. Как подберешь да раскроешь, так и разглядишь россыпи прямо любви да доброты, бабками, наверное, в наследство оставленные.

Много бабы русские мне добра сделали, а ту, деревенскую, что три картошинки подала, от ребенка своего отрывая, ту больше всех, наравне с матерью запомнил. У любого, поди, были в жизни такие «картошинки», а у кого не было,— тот сам человек безжалостный и судьбой обиженный. Не умеет он понять, что есть добро, и сделать добра сам никому не может. Несчастные это люди, парень.

Доброта, впрочем, она тоже о двух концах. Бесхарактерность, бесхребетность наша — тоже ведь от доброты, верно? Обидеть, видите ли, никого не желаем. Тебя обидают, а ты прямо как исусик, стерпишь. Да хуже того, чтобы сердце облегчить, в кабак пойдешь, стакану на несправедливость людскую пожаловаться. Многие с этого начинали, а чего добились? Стали правдолюбцами подзаборными, людьми слабыми и подлыми. Только и нас, погибших, пожалеть надо: от доброго к злому шли, хотя многим теперь путь обратный заказан...

Ну, будем здоровы!

Не смешно ли? Губим себя каждой рюмкой, капаем себе яд на мозги, а все говорим: будем здоровы! И допиваемся до того, что вместо мозгов одна каша остается, да и та под винным соусом...

Да. Со мной-то, конечно, иначе все получилось.

Десять годиков стукнуло мне, как война кончилась и отец с фронта вернулся. Летом дело было. Иду это я с речки, связку рыбешек несу: окуньки махонькие, ерши липкие. Гляжу — на дороге возле дома нашего солдат рослый да усатый, на груди медалей — что плотвы в сачке. Забилось сердчишко, подбежал, не узнавая еще, с предчувствием одним только сладким, а он подхватил меня на руки, да и прижал прямо со связкой моей рыбной, прямо ершами-то слюнявыми к медалям своим...

К тому времени дома, при матери, нас всего двое оставалось: я да сестра Нинка, постарше меня была, в пятый класс ходила. Старшая сестренка, первенец матушкин, умерла с голодухи, а брат, что за ней следом рос, на заработки подался в Ленинград.

Устроился отец в сапожную мастерскую. Израненный был, тяжелая работа его не принимала. Стали жить. Вот тут и познакомился я с ней, злодейкой, с водочкой. Да ведь не за злодейку тогда почитал, а за напиток богов, молодецкое зелье, потому как отца любил без памяти и вообразить не мог, что раз попивает родитель, так это нехорошо. Все, чего бы ни делал он, все было хорошо и должно было быть хорошо.

Пил он всегда в компании, приводил мужиков домой с выбором, как я после понял, не ради того, чтобы напиться, а о жизни поговорить. Лежу, бывало, на печи: в избе табачный дым, хоть топор вешай, мать третий самовар кипятит, а в застолье все разговоры. То про войну заговорят, да не просто так хвастают, а с обобщением. Дескать, на фронте всякого человека насквозь видно, и что даже жадность мужицкая пропадает там начисто, вся суета житейская испаряется, а начинает человек думать о большом, о смысле жизни своей...

Многое говорили...

И странное дело: пока трезвые мужики, в разговорах своих выше сапог не поднимаются, а как приняли сотенки по две — миры мечут себе под

сапоги. Так что даже не попробовавши, стал я уважать водочку. И любопытство, понятное дело, разбирало: что же это за зелье такое? Ну и оскормился. Как-то пошел отец провожать мужиков, мать корову доить наладилась, Нинка с девками по поселку шастала. Слез я с печи и, нахмурившись, это точно помню, что нахмурившись, выпил треть стакана отцовского, который он не допил. Само-собой, сморило меня, вырвало, голова разболелась. А ведь поди ж ты, отвращения к ней так и не появилось. Куда там! Гордость еще была: я — тоже мужик, тоже могу выпить!

Не один я такой был. Как теперь понимаю, пьянки в каждой семье в поселке случались, а во многих и почаще, чем у отца, особенно у фронтовиков, которые на фронте к наркомовской норме привыкли. У нас, у пацанов-то, даже игра такая была: компании пьяных мужиков изображать. Друг друга по коленкам хлопали: «Понимаешь!». И до драки иной раз, вот до чего в эти роли входили.

Страх меня берет и по сию пору, как вспомню один день. Летом дело было, я на каникулах гулял, в седьмой класс перешел. Прибыл батя домой с полочки под сильной мухой. С ним товарищ — вместе работали, часто у нас бывал, да еще один, незнакомый, москвич. Выпили они еще бутылку на троих и — на реку, катать москвича на лодке. Вижу, батя пошатывается и хвастать начал с избытком, вроде и лодка у него не лодка, а сказать по-теперешнему — «Метеор».

Предчувствие у меня, что ли, какое появилось, только побежал я следом, и пока они нашу плоскодонку на воду спускали, я на свой плот, из четырех бревен сколоченный, вскочил и от берега шестом отпихнулся. Речка у нас не широкая да и не быстрая, а все же утонуть — глубины хватит. И тонули чуть не каждый год, кто спьяну, а кто и так, судорогу не одолеет.

Вечер тот был на удивление прямо хорош. Небо чисто, солнышко к закату правилось, на лугах заречных, в бору сосновом тоже что-то вроде усталости легкой, умиротворение какое-то. С тех пор боюсь я таких мирных вечеров, ну их... Зловещими они мне кажутся и беспокорство одолевает, чувствую: вот-вот будет беда. И знаю, что неоткуда ей быть, со всех сторон иной раз застрахован, а предчувствие томит, не уходит, одолевает до того, что как зверек в клетке мечешься, пока не найдешь свою тропку проторенную, лазейку-то из клетки. Куда тропка, спрашиваешь? Известно куда, к магазину...

Сели, значит, наши пьяненькие путешественники и отправились. Плоскодоночка чуть не с бортами вровень в воде, на одного рассчитана, много-много на двоих, а тут трое здоровенных мужиков, да еще пьяные. Дело понятное, перевернулись они. Приятели отцовские к берегу плывут, а он за лодку уцепился, толкает ее. Я на плоту подъезжаю, кричу:

— Вылезай, папка, из воды! Я лодку стгону!

— Только, не лезь! Это не лодка,— корабль! Только трусов не держит, не на трусов делана!

Подогнал он с моей помощью лодку к берегу, вылез сам. Вода ручьями с него бежит, а он песню поет, лодку перевернуть старается. Друзья-то его одежду поскорее выжали, да ходу от реки. Поглядел отец вслед, плюнул:

— Трусы несчастные! Я эту лужу два раза туда и обратно переплыву без лодки, а вы на лодке испугались! Я вам докажу!

Да как был во всей мокрой амуниции — хлесь в воду! И поплыл к тому берегу. Я за ним на плоту. На середине реки шеста у меня не хватило, пришлось огребаться им, как веслом, стал я отставать от отца. А он...

Эх, брат! Хлебнул он воды и пошел ко дну, как камень. Скинул я рубашонку свою, штанишки, да в воду. Нырнул, вижу: на самом дне он медленно так руками разводит, вроде выплыть старается. Схватил я его за волосы, вынырнул, а плыть не могу, силы нету, и плот течением отнесло. Крикнул — пусто кругом, его приятели за пригорком уж скрылись. И стал я грести к берегу, пока себя помню. А хлебнул воды, брызнули у меня бессильные слезы и смысла их вода речная...

Так и выгатачили нас вместе: я без памяти, а отцовский чуб намертво сжал. Очнулся оттого, что рвать меня стало речной водицей. Чуть не наизнанку выворачивало. Потом отлегло, огляделся. Кругом уж толпа собралась, взгляды, знаешь, испуганные, а внутри, на дне-то глаз — любопытство жадное.

Отца раздели донага. Ноги большие, синеть начали и вздрагивали, когда ему искусственное дыхание делали, будто оживает человек. Взглянул я на голову, а она мотается по траве, перекачивается, волосы мокрые лоб залепили, изо рта вода при каждом взмахе рук сочится, а к уголку губ слева кусочек луку прилип оторванный. Этот кусочек мне всего страшнее показался: сразу понял я, что не спасти папку. Сердцем понял, а умом-то поверить не могу. Подполз к нему, голову своими ручонками придерживаю, чтобы не моталась, плачу. Слезы у меня по лицу горохом катятся, и в толпе кто-то закричал по-дурному. А солнышко свое дело делает, краешком за горизонт зацепилось, тени от кустов бросило длинные. Трясусь я, все кажется, что во сне, а нет, не могу стряхнуть сна, не было сна, все злая, все беспощадная правда.

Немилым показалось то лето. Места себе не находил. Ведь мы как взрослеем? Не постепенно, не как ягодка-земляничка наливается, а судорогами, рывками да толчками, после передрыг да потрясений. Из надломов-то душевных и выбиваются ростки новые. Годам этак к сорока всякая

душа человеческая на ивовый куст похожа. Коли не затоптали ростки, не искалечили, не сломали — прямые растут лозинки, радуют глаз стройностью да красой. А вот коли искалечили... Страшно и жалко глядеть на такую ивушку, печальную да скособоченную. Да что — ива! Душа людская — про нее просто не скажешь. Кроме того, что искалечится, еще зла, жестокости наберется, несправедливостью своей людей страшит, а коли власть займет, хоть бы над одним только ребенком несчастным, так и того погубит из подлой мести неосознанной за свою судьбу неудачную!

Повзрослел и я, у отцовской могилы стоя. Надорвалось, видно, что-то в детской душе, надлюмилось. Отца не винил, а на весь белый свет ожесточился. Замкнутым стал, злым. Покривился отросточек-то...

Пришлось нам с матерью без отца помучиться, да что уж теперь об этом! Не одним нам и не больше всех пришлось мучиться, — война всю Россию осиротила да обидела, а мы хоть пару годков голодного счастья схватить успели после нее.

Учиться я любил, читал много. На выпускном вечере директорша наша, Людмила Васильевна, незамужняя, маленькая и миленькая такая брюнеточка, с полчаса сидела со мной в пустом классе. Иди, говорит, в университет. А у меня мать перед глазами — усталая, седая. Разнорабочей она была на лесопильном заводишке. Думаю: здоровый балбес шесть лет штаны буду протирать в университете, а она все эти годы доски да горбыли ворочать. Да и протирать, по правде говоря, нечего, штанов-то приличных не было. Нет, говорю про себя, не делу ты меня учишь, милая Людмила Васильевна. Однако от слов ее ласковых да горячих в молодой душе и хрустнуло что-то, и появился надлюмчик маленький, только-только росточку-то проклюнуться.

Пошел я в наш лесотехникум. С десятилеткой, размышляю, через два года специальность будет, а там заочно и в университет можно. А что работа после техникума не по душе — разве думалось о том? И представления о работе не было.

Что, не интересно? Ну я вот еще приму рюмашечку...

Да! Самое худое и гиблое дело — душу человеческую покалечить, да еще беззащитную. Лет в шестнадцать-семнадцать все мы как моллюски без раковины. Душа — сплошной нерв, прикасаться к ней — ой как осторожно надо. А бывает в эти-то годы вместо нежных прикосновений — каблуком ее! Каблуком! Да еще и наплюют после. Это в тот момент, когда личность на свет белый проклеивается, оглядывается кругом, как жить да что делать. Розовенькая такая личность, смущенная, ко всякому приветливому слову тянущаяся. А и тогда уж со стержнем внутри, с мучениями да сомнениями: как же, свой смысл жизни разыскивает! Сам, поди,

знаешь: тяжелы эти поиски, вроде родов, тут человек второй раз рождается, личностью становится, — как же без мучений?

В эти годы все больше о свободе говорят, самое популярное слово, если не на языке, так в уме. А по правде сказать, не любит человек свободы, хоть и вздыхает по ней испокон веков, а любит подсознательно порядок да дисциплину, чтобы все ему было предписано и расписано. От чего все мучения при поиске смысла жизни в молодости? От большой свободы выбора только. В чем же этот несчастный смысл: то ли в любви вообще, то ли в любви к ближнему, то ли в борьбе с врагом (опять же и врага-то выбирать — свобода)? Чересчур большой свободы выбора и боится сердце человеческое: не прогадать бы, не продешевить, боится и мучается, как девка в галантерейной лавке...

Что, не согласен? Ну, это дело хозяйское. Ежели ты со мной не согласишься, с работы я тебя не уволю.

Вот говорят: не сотвори себе кумира. Правильно говорят! Кумир-то, он тоже уход от свободы выбора. Зачем выбирать, искать, мучиться, когда вот он, перед тобой, готовый, как платье ношеное: надел да и добро! Только, верно, со стороны смешно, когда платье не по росту...

Так бишь, о чем я? Вот уж и в голове закружилось. Ага, типичная история о грехопадении моем. Разнообразно все типичное — спасу нет. Говорят: пьянство — зло. И ведь правду, опять же, говорят, лучше меня никто этого не знает. Хочешь, я тебе пару фактиков из моей коллекции приведу? Любопытная, брат, у меня коллекция. Самого скоро из-под забора в могилу понесут за казенный счет, а я коллекцию собираю: кто что по пьяному делу натворил. Хобби, — так что ли, называется? Ну суть не в том. Вот историйка тебе для развлечения, да для знакомства с предметом.

Стою раз на вокзале, жара несусветная, как сегодня, а вокруг билетных касс давка, ажиотаж и томление. Вчуже глядя людишек жалко и зло на железную дорогу берет. А посреди всей сутолоки — картина. Идет пьяный, так себе пьяный, средних масштабов: и не падает, и на ногах не стоит. Чемодан тащит одной рукой, другой — девочку лет пяти волокет, с корзинкой, что чуть поменьше ее ростом. С другого боку девочка постарше, со слезами молит:

— Папка, отдай билеты, папка, потеряешь!

И стыд у нее в глазах, такой, парень, не детский стыд за отца перед народом, что у меня, у пьяницы горького, сердце облилось кровью.

А он-то, подлец, спотыкается, пот по лбу и щекам течет, язык не ворочается. И решил свою власть показать.

— Это кто билеты потеряет? Это ты как с отцом разговариваешь?

Да по личику ее, по личику! Маленькая — в голос, он и ее ногой!

Кинулся я к нему, схватил за грудки. Только тут трезвые-то люди остановились, в толпу сбились тесную. В толпе они, знаешь, все смелые. И на меня: «Хулиган! Детишек бы посовестился! На пьяного кинулся, дурак, жулик!» Милиция появилась, а мне только того и надо: знаю, не пропадут теперь девчоночки, догляд будет. Мне тогда, конечно, пять суток припаяли, да разве в том дело! Сам ведь я такой, а может и хуже, чем тот мужичок. Только когда со стороны глядишь на горе маленьких людей, невтерпеж, ей-ей.

Историй этих у меня...

Да будет. Тебе, знаю, моя история покою не дает. Продолжать?

Начал я работать после техникума мастером на нижнем складе, на железной дороге. Мужики бревна в вагоны грузят, а я, значит, руковожу. Те времена и вспоминать неохота: пили изо дня в день. Вагоны не подгонят вовремя — пьем, чтобы время не пропадало. Погрузим раньше времени, — пьем, премия светит. А когда в норме все, пьем, чтобы и дальше так

Я вот иной раз думаю: сколько у нас за бутылкой умных речей говорится, сколько прожектов гениальных выкладывается, какая энергия мыслительная уходит с винными парами! Дай ей одно направление — шар земной перевернуть можно! Приподымись-ка вот так, мысленно, над всеми кабаками да забегаловками: задавит тебя пьяная сила мысли! Потому что не только от вина, а и от мыслей человек пьян бывает, а вино, оно вроде катализатора, что ли? Что? Говоришь, и дури немало? Немало, спорить не стану. А все-таки, другое дело учти: пьяный, он всегда независимый. Смелости у него на батарею хватит. За стаканом вина большинство в откровенность пускается, да в такую, что с похмелья и самому страшно. Не потому ли и пьют: больно уж себя честным да бесстрашным хоть на миг почувствовать хочется?

Ладно, пойдем дальше. Это я теперь такой, как в воду опущенный. А было... Стройный, румянец во всю щеку, чуб, черный на глаза валится. Иду ночью по поселку, песни пою. Утром себя ругаю: опять, думаю, дьявол, всех разбудил. А окольные разговоры послушаешь, ну, говорят, Анна, и сын у тебя, все не спим, ждем, когда из клуба пойдет с песней, как соловушка заливается, инда слезы к душе подступят.

Не знаю, песней ли, красотой ли своей приворожил я тогда девчонку. Все ведь было: и поцелуи, и ночи бессонные над рекой. Помню, посылали меня в командировку куда-то дней на десять. И так-то страшно было оставить ее на эти десять дней одну, без меня, что среди ночи, выпив для храбрости, пришел к ее дому, постучал в ворота и отцу сказал, что нео-

тложно нужна мне Иринка, иначе, мол, черт знает что может выйти. Хороший был мужик отец у нее. Другой бы шуганул такого кавалера, пятки бы засверкали! А он пошел, разбудил. Выходит моя Ирина, как Алenuшка босоногая, в одном халатике, и глазиски со сна не открываются. Подхватил я ее тогда на руки, да и понес прямехонько на берег. И она рада, прижимается, улыбается, слова шепчет ласковые... Посадил я ее, королеву мою, на траву, упал к босым ногам, и ну — целовать. Ничего тогда чище да милее этих ножек не было для меня на всем белом свете...

Так-то, брат. У всякого, наверно, человека есть такая святая минута в жизни. Только скажи мне, отчего так у людей устроено, что святости-то хватает хорошо, если на месяц, на медовый там, или еще на какой. Чаше-то не хватает и на это короткое времячко. Больно уж хрупкая она, святая минутка, — и не уронишь, вроде, а сломается.

Вот и я не сумел сохранить. Опять же из-за стакана вина, как теперь понимаю. А что сделаешь? Слаб человек! Мужики пьют на работе — и я пью. Дружки после работы соображают — и я не в стороне. А интересно ли молодой да красивой девчонке каждый вечер пьяного ублажать? Вот и поглядывала моя Иринушка на сторону. И то сказать, не на мне свет клином сошелся. Приметил я, что ее то один, то другой парень из клуба провожает. И загорелось ретивое: сам-то тоже, вроде, не лыком шит, девки с меня глаз не спускали. И придумал я для нее испытание.

«Вот что, говорю, Ириночка, девочка моя. Вижу, не понимаем мы с тобой друг друга, хоть и клялись, и обещали. Давай-ка на годик разойдемся. Полюбишь кого — выходи замуж. Я полюблю — женюсь. Волявольная и тебе, и мне. А если, мол, через год нас друг к дружке потянет, — сыграем свадьбу — и никаких гвоздей!»

Понятно, обиделась она. Потому и условие приняла.

Год этот, парень, горьким для меня стал. И в прямом, и во всяких смыслах. Измотался по гуляющим девкам, по вечеринкам. Напьешься, да головой в омут. Жизнь-то, твердят, одна. Только раз, это уж на исходе нашего срока, прихожу в клуб трезвый, даже непривычно как-то показалось. Поглядел да и ахнул: танцует моя Ириночка, как царевна. Краше ее в тот миг не только что в нашем клубе, в мире никого не было! Строгая такая красота, которую трогать боязно, на которую молиться хочется. Обругал я тогда себя последними словами, подошел к ней, на танец приглашаю. И такая она со мной приветливая, такая добрая в тот вечер была, что душа моя мигом на седьмое небо упорхнула. Вот провожаю ее из клуба домой, а дело-то осенью было, по дороге я возьми да и споткнись, чуть не упал. Она меня за локоть поддержала, смеется:

— Что это ты сегодня спотыкаешься?

— Всякий человек, отвечаю, когда-нибудь да спотыкается в жизни. Лишь бы вовсе не упасть, а остальное — не беда!

И обнять ее, как прежде, пытаюсь. Не отстранилась она, а только спокойно да грустно так говорит:

— Я ведь, Толя, замуж выхожу.

Как обухом по голове...

Вскипела вся кровь во мне, а кого будешь виноватить, кроме своей дурной да пьяной головы? Сдержался, руку ей сжал, сказал «прощай» и пошел, куда глаза глядят. Вот тебе и споткнулся...

Застоялись что-то у нас рюмочки. Примем зелья разговорного, которое меня погубило!

После такого щелчка жизненного я поприутих ненадолго. Пора, думаю, за ум браться. Поступил в институт, стал учиться заочно. Женился. Выпивал тогда не часто и все больше умеренно. Через год сын появился: маленькое такое, красное существо. До того беспомощное оно, что, кажется, в любую бы минуточку жизнь за него отдал. Радость была великая поначалу.

Интересно, ежели вникнуть: ведь вся жизнь человеческая из радости может быть составлена, вроде как, знаешь, картины из маленьких кусочков цветного стекла собраны. И хорошая жизнь должна получиться, лучше любой, что ни на есть, жизнерадостной картины. Только многие из людей, вроде меня, — мастера никудышные. Стеклышко каждое в отдельности ценить не умеем, посмеемся еще: ну какая это радость! А через годы поймешь, что да, радость была, да не понятая, брошена она и растоптана. Горько пожалеешь потом, но ведь не вернешь: давно выброшено драгоценное стеклышко на свалку, и в картине, на том самом месте, где оно заиграть должно, пустая и мутная дыра...

Не возвращается время.

Вот и с сыном так. Поначалу радовался, потом пригляделся, нервишки заиграли. С великими трудами усажу себя вечером за стол, заставлю учебник открыть, а тут рев, писк. Плунешь, да из квартиры долой, на улицу. А там дружки, приятели. Заявишься домой за полночь в самом неприглядном состоянии.

Дружки у меня тоже скоро сменились. Раньше были друзья, а теперь дружки стали. Из настоящих одни поразъехались, кто куда, другие посмеиваться стали над моими пьяными историями. Так постепенно друзья дружками и заменились, а проще сказать, собутельниками. Пьешь ты сегодня со мной — сегодня ты мне друг. А завтра либо ты меня знать не хочешь, либо я тебя. И лучшего своего друга, который у каждого челове-

ка, наверно, с малых лет есть, тоже я потерял, и тоже по своей вине, или из-за казенного вина, считай, как хочешь. Валькой его звали, Валентин Рыбаков, одноклассник мой. Помнишь, три картошки-то в детстве с ним поделили? Сколько ночей просидели, сколько тайн друг другу поведали, как на исповеди! Работал он тоже в нашем лесопункте, и в клуб вместе хаживали, и выпивали частенько. Отгуляли друг у друга на свадьбе, он-то раньше моего женился, а потом как-то реже да реже встречаться стали. Сам знаешь, женатым не от простой поры по гостям ходить, да я еще учебу затеял. Однако знали и надеялись: случись беда у одного, другой придет на выручку хоть за тридевять земель. Приходил он, Валька-то, ко мне, не один раз приходил, хотел, видно, помочь, да не сумел. Как стал вечерами из дому на сторону шастать, явился он, как сейчас помню, в воскресенье с бутылкой. Выпили, натурально, он и начал:

— Брось, говорит, Толя, пьянку. Не дело это. Сын у тебя растет. Сам способный: в институт поступил. Какого черта тебе еще надо? Все пьем, знай только меру да место. А ты, говорят, и дома не всегда ночуешь.

И так далее, и в том же духе. Заметил, видно, что физия у меня вытягивается, положил руку мне на колено, наклонился ближе:

— Я бы тебе ничего не сказал, если бы не дружба наша. А как друг не могу, больно мне глядеть на тебя.

Меня злоба берет за его критику, и говорю ему так надменно:

— Таких друзей — за ухо, да в музей.

— Смотри, Толя, не продешеви!

И вышел.

С того вечера встречались реже, а потом и вовсе разошлись. Я все мастером на погрузке работал. Стали со временем меня поругивать. То нагоняй дадут: погрузку затянул, вагоны простояли, то вагон отправил с недогрузом. Запьешь — тоже соответственно попадало. Вот вызвали как-то в контору к начальнику лесопункта. Тот руки не подал, сесть не пригласил, сразу — в лоб:

— Долго будешь куролесить? Смотри, Борисов, не сносить тебе головы. Еще замечание, цацкаться не станем, выгоним в два счета.

— Сделайте одолжение, говорю, кого на мое место поставите, тот месяца не потянет: либо запьет, либо убежит.

— Рыбакова поставим, — говорит начальник и смотрит на меня внимательно.

Ухмыльнулся я.

— Образованьишко-то у него восемь классов, девятый коридор.

— А нам не образование, нам работа нужна. Так что, смотри.

— Нечего, отвечаю, смотреть. Подпиши заявление.

Сел я к столу и тут же — заявление на расчет. Начальник, видно, того и ждал, враз подмахнул, даже торопливо как-то, вроде боялся, чтобы я не передумал. Иду домой: с одной стороны радостно — ноша с плеч, с другой — обидно. Подсидел, думаю, меня дружок закадычный, Валька Рыбаков. И самое-то обидное, что знал: пойдет у Вальки дело, его на мякине не проведешь и бутылкой не купишь.

Стал я менять работу, как перчатки. И скажу тебе, есть какая-то глупая радость, когда ответственность за себя, или, иначе сказать, стыд потеряешь. Никакого ты начальства не боишься, все перед тобой равны, одна забота — где бы червонец сорвать. Многие из моих собутыльников говорили раньше об этом, а тут я и сам испытал. Из института меня к тому времени, конечно, выперли, дома скандалы пошли, а я — сам себе голова, кругом безответственный.

Иной раз думаю: все равно. Я жизнь разменял — другой не разменяет, все и уравнивается. В какой-то старинной книге сказано: «Руси есть веселие — питье». Может и правда? Но это так, бодрюсь. А с годами все хуже и хуже.

Я тебе истории из своей коллекции рассказывал? Так поверь: вот я сейчас пропойца, все на свете потерявший человек, а понимаю — самая гнусность в нас та, что детей своих калечим. А вот еще история, если хочешь. Допился один мужичок в нашем поселке до белой горячки, а жил вдвоем с сыном-десятиклассником, жену за два года до того схоронил. Сын у него был не парень — золото. И полы мыл, и белье стирал, готовил, да и в школе чуть ли не первым шел. Так что устроил дражайший батюшка? В жесточайшем похмелье, в горячечном-то этом бреду взял сапожный нож да и перехватил горло сонному парню! А потом и себя порешил. Часто стоит у меня перед глазами эта картина: нечеловек, полутруп спившийся у кровати мальчика, надежд, планов полного, да может любви первой, ласковой, чистой. И нож острый в похмельной дрожащей руке!

Понимать бы мне побольше тогда, когда из дома вечерами бежал, уходил от беспомощного, от сыновьего крика!..

Эх, не берет меня сегодня винишко! Знать, посудина мала, да что — рюмка! Я вот сейчас фужер опрокину, залью тоску-то свою. Не желаешь? Дело хозяйское, а я выпью.

Алкоголизм — болезнь, говорят. И точно — болезнь. Возьми ты самого что ни на есть страшного преступника. Если он слово кому дал, ему скорее поверить можно, чем обычному пьянице. Пьяница двадцать раз покаянется, а покажешь ему бутылку — все забудет, все продаст и предаст. Горе народу, у которого каждый десятый — пьяница. Это я тебе точ-

но говорю, хотя мог бы и наоборот повернуть: в защиту вина тоже понаписано ой-ой сколько.

Ну что, опять к нашим баранам? Привел я однажды ночью дружка своего очередного с бутылкой к себе на квартиру. Сели мы на кухне, да и давай за свос: ты меня уважаешь, да ты меня понимаешь, да извини... Под сильным газом оба тогда были. Жена у меня тихая, безропотная, а тут не стерпела, пришла да и выставила дружка моего с треском. А я... Я, брат, принялся свою мужскую силу да власть показывать. Ударил ее смаху, упала головой в угол, а я ногами ее, ногами... Сын заплакал, в реве захлебывается, жена замертво в углу лежит, а за окнами ночь, и дождь по стеклам стучит...

Эх, жизнь собачья!

Ты что на меня так смотришь? Противно? Сволочь ты. Все вы, чистюли, одинаковые. И чего я тут перед тобой наизнанку выворачиваюсь, душу свою ломаю? Ишь, скотина, не нравится ему. Ты с мое жизни понюхай! Уматывай отсюда, пижон, пока цел, а то как дам промеж глаз!

А тебе чего надо? Ты — отойди. Ты официант? Официант. Вот и катись колбасой. А то, может, тебе сделать? Я сделаю! Долго помнить будешь! Не хватай за ворот! Сам уйду, а ты не хватай человека. Мурло. Вот тебе твои деньги! Борисов сроду ни у кого не зажиливал!

...Его увели. Был он в засаленном пиджачке, в грязной рубаше. Волосы, поначалу еще кое-как причесанные, теперь растрепались, большая грязно-седая прядь прилипла к потному лбу. Все его пьяное лицо, обрюзгшее, в синих прожилках, красные воспаленные глаза выражали страдание.

Я еще долго сидел за столом и вспоминал случайного знакомого. Что-то в истории его жизни задело меня, в доморощенной философии было нечто такое, от чего невозможно отмахнуться, забыть...

ПОЛОВОДЬЕ

В лесу стало сумрачно, посвежело. Голые ветки, распаренные вешним солнцем, звонко шелкали по рюкзаку. Резиновые сапоги то скользили по наледям в ложбинках, то глубоко проваливались в сырой мох, который сплошь устилал ельники. Обойдя круглое болотце, Алексей наконец выбрался на большую дорогу. Отсюда еще не видно было реки, за которой лежал поселок, но на далеком холме отчетливо рисовалась железнодорожная насыпь на фоне бледной полоски угасавшей зари. Слева, над лесом, поднялась и с каждой минутой наполнилась яркостью половинка месяца. Кое-где по-весеннему тревожно и сладко мерцали звезды.

Алексей невольно замедлил шаг. Он любил такие вот вечера, наступающие вскоре после ледохода, когда дышишь полной грудью и не замечаешь того: воздух, напоенный талой водой, проникает не в легкие только, а во все поры разгоряченного ходьбой тела.

Лес по сторонам дороги поредел и оборвался, в низине показались дома. Неторопливо сняв с плеча двухстволку, Алексей разрядил ее и снова кинул за спину стволами вниз. Под светом луны матово блеснула река. На длинном, без перил, наплавном мосту обнималась парочка.

«Милуются... Весна!» — с улыбкой подумал Алексей. И это тоже было привычно, как лес, из которого только что вышел, как река и дома на том берегу. Все было свое, но свое не в том смысле, как бывает своя собака или свое ружье. Просто окружающее было частью его самого, частью, которая, наверно, могла жить сама по себе, отдельно от него, но без которой он сразу бы оказался никчемным и лишним на этом свете. «Счастье? — неуверенно спросил он себя, ступая на скользкие бревна моста. — А может, и счастье...».

Сдавленный вскрик заставил его вздрогнуть и оглядеться. Пара на мосту двигалась как-то странно, будто танцует. Парень, грубо заломив руки девушке, пытался прижать ее к себе.

— Пусти! Отпусти, пожалуйста! - всхлипывая, молила она, то делая отчаянные попытки вырваться, то замирая в ужасе, когда парень, нетвер-

до ступая, приближался к крайним бревнам моста, из-под которых с бульканьем выбивалась черная, завитая в воронки вода.

Алексей подбежал и тотчас узнал обоих. Затравленно озираясь, увертывалась от поцелуев пьяного Володьки Петухова молоденькая медичка, недавно приехавшая в поселок.

— А ну отойди! — крикнул Алексей.

Володька от неожиданности разжал руки, и девушка бросилась бежать.

— Тебе что, обратно захотелось? — приглушенным голосом спросил Алексей.

Володька, овладев собой, сунул руки в карманы.

— Граждане, он меня учит! Коленочки не дрожат, Леша? Мне, Леша, тюрьма — дом родной, а по тебе, чай, мама плакать будет. А ведь я тебя, Леша, поучу, знай, поучу...

Алексей вдруг успокоился. Петухова он знал давно. Мелкий воришка, шаставший по соседским огородам, он лет пять назад был посажен за драку и только недавно вновь появился в поселке.

— Дай дорогу.

— Не-ет, Лешенька, надо поговорить... — начал Володька вкрадчиво и вдруг заорал, распаяя себя: — С ружьем на меня?! На Петуха, да?

Рванул руку из кармана. Алексей успел заметить блеснувшее в лунном свете лезвие ножа и, не раздумывая, пнул Володьку ногой. Раздался всплеск, и черная вода тут же сомкнулась. Оцепеневший Алексей увидел, как Володька вынырнул метра за три от моста, невнятно крикнул что-то и снова скрылся. Сбросив ружье, рюкзак, Алексей лихорадочно стал снимать сапоги. Они не слезали с распаренных ног, и Алексей рвал их зло, торопливо. Швырнул телогрейку на бревно, прыгнув в пугающую черноту. Вода обдала как крутой кипяток, на минуту зашлое сердце. Торопливыми саженками Алексей поплыл к темневшей далеко впереди голове Петухова.

«До переката. Успеть бы! — лихорадочно мелькало в голове. — Там мелко. Не успею — в омуте гибель. Завертит».

Отяжелевшая рубаха и брюки тянули вниз, ноги двигались судорожно, рывками.

«Сведет? Не надо. Не надо», — молил кого-то Алексей, упрямо наступая черным комком, то исчезающий, то появляющийся впереди. Когда Володькина голова снова скрылась, Алексей рванулся вперед, чуть не по пояс высунувшись из воды. Раньше он всегда гордился, что умеет плавать вот так, держа плечи над водой: сильные гребки выносили туловище, как нос глиссера. Сейчас рывок лишил последних сил, зато Володька

оказался совсем рядом. Алексей настиг его, схватил левой рукой за волосы, правой стал загребать к берегу. Неожиданно цепкие пальцы утопающего сильно дернули его за рубашку, а через миг Петухов всем телом навалился на Алексея, подмял под себя, стиснул туловище коленями. Хлебнув воды, Алексей рванулся в сторону, инстинктивно стараясь вырваться.

— Слезь! — захлебываясь, в страхе закричал он. — Слезь, сволочь, уто-
нем оба!!

Володька еще крепче вцепился в плечи.

«Ко дну!» — мелькнула в голове Алексея спасительная мысль. Схватив глоток воздуха, он нырнул. Некоторое время Петухов еще держался за плечо, потом пальцы разжались. Открыв глаза, Алексей в какую-то долю секунды увидел сверху светлое пятно луны и неестественно крупные пузыри.

«Конец», — обессиленно подумал он, и в тот же миг ноги ударились о камень. Алексей встал, схватил барахтающегося рядом Володьку. Воды здесь было только по плечи, зато течение заметно усилилось, — их уже донесло до переката.

Потерявший сознание Володька перестал двигаться. Борясь с течением, волоча за собой безвольное тело, Алексей осторожно побрел к берегу. Раза два он оступался, соскальзывая с крупных, осклизлых камней, тяжело ударял свободной рукой по воде, уже не ощущая ее обжигающего холода. С трудом дотавившись до каменистой осыпи, он обеими руками выволок Володьку на берег, выпрямился и долго откашливался, сплевывая воду. Тело била крупная дрожь — то ли от озноба, то ли от запоздалого страха. Не в силах справиться с ней, Алексей сполз на землю, обхватив колени руками, прижался к ним головой. Одежда быстро твердела, леденела. Петухов пошевелился и слабо застонал.

— Вставай, падаль! — Алексей с усилием ткнул Володьку ногой. Удар получился какой-то ненастоящий, ватный. Петухов с трудом оторвал голову от земли, привстал на четвереньки и затрясся в неудержимом приступе рвоты.

«Идти надо, — отрешенно думал Алексей, глядя на Петухова. — Идти надо. Замерзнем».

Напряжением воли он заставил себя встать. Ноги подгибались, вновь застучали зубы. Володька сел на камни, растерянно озираясь.

— Иди! — с трудом шевеля непослушными губами, приказал Алексей.

— Не м-м-могу...

— Иди! — Алексей, чувствуя, что звереет, и что злоба эта каким-то образом прибавляет сил, ударил Володьку по шее. Тот с усилием приподнялся. Пошатываясь, они двинулись к темневшему впереди мосту.

Ходьба чуть-чуть согревала, зубы перестали выбивать ненавистную дробь, зато руки и ноги одеревенели, Алексей шел, будто на ходулях. В ботинках у Володьки при каждом шаге хлюпала вода, и от этого хлюпанья становилось еще холоднее. У моста Петухов навалился на изгородь. Алексей снял брюки и рубашку, наспех выжал и в одних трусах, осторожно, держась самой середины моста, подошел к своей, брошенной в беспорядке одежде. Собрал все в кучу, прижал к груди. Все время, пока выбирался обратно, спиной чувствовал опасность, словно боялся, что кто-то рванет сзади за плечи, снова швырнет в ледяную черноту. Остаток моста он пробежал бегом и торопливо стал одеваться. Лишь после того, как накинул телогрейку и натянул сапоги, страх отступил.

— Эй, ты! — кинул он неподвижно висевшему на изгороди Володьке. — Одежду выжми, а то концы отдашь.

Алексей поправил ружье, поежился и, повернувшись, устало побрел к домам. Река катилась все так же молчаливо и сурово. Местами, как крохотные заплатки, белели не успевшие растаять льдинки.

БЕДА

Беда свалилась неожиданно и как-то просто: у Ивана Ивановича поехала из-под ног земля, наверхие колодезного сруба вместе с воротом покосилось и враз оползло. Негромкий треск и глухой стук гнилых бревен заглушил истошный вопль Матрены:

— Па-ашенька-а-а!!!

Миша Хвостов пухом отлетел от воронки, бросив веревку. Она зазмеилась в рухнувший сруб будто живая. Матрена метнулась было схватить веревку, но Иван Иванович перенял старуху, отмотнул от рыхлого уреза ямины.

— погоди! погоди уже, Матрена! Не лезь! — бормотал он скороговоркой. — погоди уже, разберем, достанем. Может, ничего... Разберем...

— Ой! Ой, батюшки! О-о-ой!! — рвалась к колодцу Матрена.

Ноги Ивана Ивановича мелко тряслись, а перед ним из зыбкой, еще вздрагивающей воронки торчали обломки плесневелых бревешек и до блеска отполированный штырь ворота. Внизу, под всем этим ломом, в холодной жиже остался сосед Пашка Воронин.

— Да сведи ты ее в избу! — опомнившись, заорал Иван Иванович Хвостову. — Душу вымотает!

От крайнего в деревне дома бежала простоволосая хозяйка Ивана Ивановича Настасья. Она подхватила обмякшую, беспамятную Матрену из рук Хвостова, повела через затравенелую колею.

— Эка напасть какая! — крикнул Хвостов. — Думано ли...

— Думано, да не тем местом! — сплюнул Иван Иванович. — Сруб-то годов тридцать, коли не боле! Нечего было соваться в экую западню!

— Дак ведь он сам! Пашка-то. Сколь отговаривали! Может, живой? — Хвостов подошел к краю ямины, опустился на четвереньки, гаркнул в яму:

— Паша-а!!

Оба старика затаили дыхание, прислушались. Из земли не доносилось ни звука.

— Какое уж там — живой! — безнадежно сказал Хвостов. — Ишь, осыпался сруб-от, поди, до самого низу...

— Ох ты мать твою перемать! — Иван Иванович опустил на сгнившую колоду, поднял беспомощные глаза на Хвостова:

— Чего делать-то станем?

— Чего топере делать? Что хошь делай, все попусту...

— Попусту... — будто в раздумье повторил Иван Иванович и тут же поднялся.— Попусту — не попусту, а доставать надо. Хоть живого, хоть мертвого. Настя! — окликнул он жену, хлопотавшую возле Матрены.— Иди-ко сюда!

Настя подошла, рукавом утирая слезы.

— Придется тебе, девка, в сельсовет брести. Обскажешь что и как, пусть народ собирают да шлют немедля. Авось не до смерти пришибло, поспеем откопать. Пусть все дела кидают. Скажи: к утру подмоги ждем, вдвоем-то чего мы сделаем? Трактор с лебедкой надо, бревна выволакивать. Давай, сряжайся живехонько!

— Ой, матушки, беда-то какая! — уходя, запричитала Настасья.

— У тебя, вроде, тесины на крышу припасены? — спросил Хвостова Иван Иванович.— Настил придется класть.

— Да ты что, Иван? — испугался Хвостов.— Нешто эти тесины удержат? Переломаем только, а мне — крышу крыть! Нового-то тесу не скоро допросишься!

Иван Иванович стрельнул в Хвостова сердитым взглядом, однако смолчал.

— Пашенька бревна на подруб привозил,— всхлипывая, сказала Матрена — и не заметили, как опять подобрались к колодцу.— У крыльца скиданы, не погодятся ли?

— Не осилить нам бревна, не приволокчи,— сказал Хвостов.

— Пойдем, поглядим.

Бревна Паша и впрямь привез ядреные, видно, на нижние венцы. Иван Иванович сморщился, махнул рукой и, не говоря ни слова, пошел вдоль деревни. Хвостов, поотстав, шлендал за ним. Вскоре в пятистенке Ивана Ивановича раздался скрежет, что-то тяжело грохнуло внутри хлева. Миша поднялся на поветь и увидел, что сосед ломом отдирает потолочные плахи над хлевом. Взялся помогать. Потом на плечах перенесли плахи к колодцу, у которого прямо на траве подстреленно сидела Матрена. Через ямину перекинули четыре плахи, оставив в середине прогал. Встав на плахи, Иван Иванович выволок пару трухлявых обломков, отшвырнул в сторону. Но только взялся за ворот, утычью смотрешший в небо, как внутри колодца снова треснуло, прогремело, стала оседать, осыпаясь, земля, настил дрогнул и покосился.

— Мать-перемать! — отскочил Иван Иванович.— Тащи-ка веревку: петлей захлестнем...

— Не шевелить бы, Иван? — несмело промямлил Хвостов. — Ну, как жив Пашка-то? Людей бы дождаться...

— Где оне, люди твои? К утру придут — самое раннее. Сутки парню тама и страдать? Да и люди все одно ведь шевелить станут, не шевеля не разберешь. Иди за веревкой!

— Матрена, нет ли у тебя веревки-то? — спросил Хвостов.

— Ой, Миша, бежи скорая, за воротами на гвоздике повешена... — Матрена хотела встать — ноги не держали. Она ничком повалилась на траву, выдирая ее с корнем темными жилистыми руками. — Пашенька! Рожонный ты мой...

— Не голоси, Матрена! — прикрикнул Иван Иванович. — Чего раньше времени отпеваешь! Гляди, жив еще...

Надежды в его голосе не было.

Взяв из рук Хвостова веревку, он сделал скользящую петлю, захлестнул за ворот и, перекинув веревку через плечо, потянул. Подскочил Хвостов — помогать. Бревно с железным штырем внутри нехотя поползло вверх, брякая цепью. В срубе снова глухо грохотнуло. Ворот удалось-таки выволочь, его откатили по настильным плахам подальше от колодца. Яма под настилем сделалась глубже.

— Пашка! — крикнул в Ямину Иван Иванович. — Живой?!

Отклика изнутри он не дождался.

— Иван! Иди-ко, чего скажу-то! — отозвал его в сторону Хвостов и торопливо, брызгая слюной, зашептал:

— Нельзя тут без свидетелей колупаться! На нас все и свалят, ежели задавит. Скажут: не шевелили бы до подмоги, так жив бы остался. А Пашка все едино — покойник. Сказался бы, кабы не пришибло. Ты как хошь, а я отступаюсь. Неохота в тюрьму садиться на старости лет...

— Да ты что, Миша? Какая тюрьма? Полно не дело-то буровать! Познаем, сколь можно, а там видно будет.

— Нет, без милиции, брат, нельзя, — уперся Миша. — Подсудное дело! Ты как хошь, а я — домой.

— Ох ты, сука! Тебя бы в колодец-то закопать, чего бы запел?

— Не ори! Никто и Пашку туда не пихал! Три года ходили на ручей по воду, не переламывались! Ему говорено было: не суйся, прогнило все! Чего мы тут топерь заведем, все одно не достать! — Хвостов круто повернулся и пошел к своей усадьбе.

— Миша! — попробовала остановить его Матрена. — Да совесть-то есть ли у тебя?!

Но он только махнул рукой и засеменил еще быстрее. Иван Иванович тупо глядел, как дергается по земле тень Хвостова, потом нагнулся и

дрожащими руками стал поправлять плахи настила, сдвигая их над срубом. Матрена бестолково тыкалась рядом, мешала.

— Сходи ведро принеси,— попросил Иван Иванович, давая кипящую внутри злость.— Да веревку погляди еще, тоненькую можно, ведро привязать.

Он продернул веревку под потолочинами, закрепил. Другим концом обвязался сам и стал дожидаться Матрену. Конечно, зря полез Пашка Воронин чистить колодец, подумалось ему. Походили бы и на ручей, руки не отсохли бы, а зимой снегу натаять можно. Отговаривали Пашку и он сам, и Миша Хвостов, что верно, то верно, да разве отговоришь? С мальства такой: задумает — гору свернет, а сделает по-своему. Все последние зимы дровами снабжал стариков, огороды пахал, в любую распуту на тракторе за двадцать верст приползет, с центральной усадьбы. Без Пашки давно бы окочурилась вся Филинская: чего сдюжат два старика да две старухи? Пашка года два уговаривал Матрену переезжать, не сговорил, а теперь и самого, вроде, стало потягивать в родную-то деревню. Бревна, вишь, на подруб избы привез, колодец чистить наладили. Тут пуп резали, тут и смерть довелось принять. Ох, Пашка, Пашка...

Привязали веревку к ведру, и Иван Иванович полез в яму. Они вытянули пяток ведер земли и древесной трухи, потом пришлось вынимать раздробленные осколки бревен. Иван Иванович ступал как по живому по шевелящемуся месиву, с опаской прислушиваясь, как почикувает и время от времени обваливается что-то вниз. Понимал: в одиночку завал не разобрать, рано или поздно придется отступить, но продолжал упорно выковыривать обломки. Когда мякоть под ногами глухо хлопнула и просела, Иван Иванович судорожно уцепился за плахи. Матрена ухватила его за воротник, помогая вылезти наверх.

— Двух бы мужиков...—задышливо прохрипел он.— Двух бы мужиков только...

Сидя на плахах, трясущимися руками достал из пачки папиросу.

— Сделай чего-нибудь, Ваня, ради Христа! — опять заплакала Матрена.— Паша ведь тамока...

Скрипнув зубами, Иван Иванович отшвырнул только что закуренную папиросу, выбрался по плахам на землю.

— Не шевели тут ничего! — прикрикнул на Матрену и направился к избе Миши Хохлова. Намокшие штаны старика огрузили, съехали на самый крестец.

Хвостов лежал на кровати и, пугливо открыв глаза, натянул одеяло до самых ушей.

— Скрутило меня, Иван! — простонал он.— Попереживал, дак шабаш, каждое место ломит, и встать не могу...

— Не ко времю...— оперся кулаком о косяк Иван Иванович.— Я думал ворот изладить, да одному-то неспособно. Воротом легче ведро-то поднимать, не столь грузно.

— Какой из меня работник — руки-ноги отнялись...

— Коли отнялись, конечно,— как бы согласился Иван Иванович и грохнул дверью.

Матрена все стояла у колодца, держа в одной руке ведро, в другой — смотанную кольцами веревку. Солнце уже клонилось к самому лесу, тень старухи удлинилась и недвижно лежала на мятой траве лужайки.

— Иди, Матрена, домой. Делать нечего, станем подмогу ждать. К утру-то всяко привезет Настасья мужиков.

Она побрела покорно, как заведенная, но когда Иван Иванович, придя к себя, ополоснул руки из рукомойника и ненароком глянул в окошко, Матрена опять сутуло стояла у колодца.

Он налил кружку молока, взял хлеб и тут же положил его на стол — кусок не лез в горло. Походил по избе, выглянул в окошко раз, другой, крепко матюкнулся и чуть не бегом выскочил во двор, заковылял к колодцу.

— Всю ночь и станешь караулить! — закричал на Матрену.— Сказано: в утре выкопаем! Пошли давай ко мне без разговору!

— Я, Ваня, тутока посижу,— вроде бы даже спокойно ответила Матрена.— С Пашенькой посижу, невесело ему одному-то...

Он и уговаривал старуху, и тянул ее за рукав старой кофтенки — все напрасно. Матрена молча, но яростно отбивалась. Иван Иванович плюнул, ушел домой, застал и напоил скотину. Солнце село, однако сутемки, сидящей на плахе, виделись четко. Тревожно покружив по двору, Иван Иванович взял топор и опять полез на поветь отрывать еще одну потолочную плаху. Сняв с гвоздей, развернул ее поперек и долго шаркал ножовкой, перепиливая пополам. По одной перетащил толстые, в полбревна половинки к колодцу, сказал Матрене, шумно дыша:

— Пойдем ко мне. Надо пооклематься маленько, вишь, темно стало. С утречка ворот поставим, а там и подмога подоспеет...

— Студено больно там, не высмочь Пашеньке,— снова всхлипнула старуха.— Вода-то ледяная, ключи...

— Все одно не нагреешь,— угрюмо проворчал Иван Иванович и, обхватив Матрену за плечи, повел с собой.

В избе у Ивана Ивановича Матрена поуспокоилась, даже кружку молока выпила и прилегла на диван. Сам он не думал, что уснет, теснило и жало в груди, однако, стоило только лечь, будто провалился в черную яму. Часа через два заполошно подхватился, сел на кровати. Включил свет — Матрены в

избе не было. «Неужто опять у колодца сидит? Чокнется баба, не снесет горя. Да хоть кому доведись экая страсть: сын под землей, может при смерти, а и не сделаешь ничего... Ничем не поможешь. Только едва ли живой. Сказался бы: сколь ни глубок колодец, а голос достиг бы. Нет уж, видно, кранты...»

Но, думая так, Иван Иванович уже торопливо одевался и, наскоро ополоснув лицо, приволок из кладовки большой ящик со всяким железным припасом. Погремев, достал шесть ржавых скоб и небольшой блок, который можно было приколотить к перекиадине и перекинуть через него веревку. Пихнул в карман фуфайки шесть длинных гвоздей, взял молоток и вышел на улицу.

Утро только-только брезжило, звезды еще играли вовсю и лишь через ветви старой березы на краю деревни сочился невнятный свет с восточной стороны. Иван Иванович споткнулся о тракторную колею, роса с высокой травы брызнула в голенища. Из-за темени не сразу разглядел он Матрену, что лежала на плахах настила над самым колодцем.

— Вишь, нашла место! Неча душу-то рвать!

— Живой он, Ваня! — радостно, как ему показалось, прошептала Матрена. — Живой! Стонет, сама чуяла! Ой, вызволяйте Пашу, мужики! Замерзнет ведь парень-то!

— Ну-ко уйди! Послушаю...

Матрена неловко, на карачках сползла с настила. Иван Иванович опустился на ее место, свесил голову в черную яму, но сколько ни напрягался, затаивая дыхание, не услышал ничего, кроме тягучего звона в ушах.

Вкапывали столбы да налаживали ворот долго. Иван Иванович все чаще поглядывал за деревню, туда, где старая тракторная дорога загибалась в лес, надеясь увидеть людей, за которыми послал Настасью. Дорога была пустой, не доносилось и тракторного гула.

Потянули веревку, намотанную на ворот, пробуя все устройство на крепость. Похоже, выдержит, да ведь Матрене одной не управиться. Ведро земли еще поднимет, а ежели бревно привязать, так и думать нечего вынуть — тут сила нужна. Разве что Матрену в яму опустить? Нет, неумелочи пошевелит завал, так и саму-то засыплет, а тогда чего запоешь? Он снова с тоской поглядел на лес, в который заворачивала дорога, скользнул глазами по деревне, по избе Миши Хвостова и вдруг взрогнул: угол одной из занавесок был приподнят — сосед исподтишка наблюдал за ними.

2

В это самое время Настасья бегала по Анциферовской, разыскивая тракториста Петьку Балукова. Спотыкливым старушечьим шагом, со

многими передышками одолела она двадцативерстный волок только за полночь и сразу пошла к председателю колхоза Александру Беспалову. Попала не в раз: накануне все начальство уехало в райцентр. Жена Беспалова Лидия сказала:

— Может, и сегодня не воротятся, ночуют. Да ты, милая, к милиционеру сходи, к Степану Зотову, свонное ведь дело, ежели человека убило. Без него и откапывать-то нельзя, следствие должно быть, раз мертвое тело...

Испуганная Настасья опрометью кинулась к обшитому тесом дому Зотовых. Но того дома тоже не оказалось, с вечера увез в райцентр хулиганов. Степанова жена Мария, несмотря на ранний час, покормила и уложила на диван валившуюся с ног Настасью:

— Отдыхай, ни об чем не думай. Я сейчас к механику сбегая, пусть трактор отряжает с мужиками, а как срядятся, разбуду, вместе и уедете. Поспи, вишь, лица на тебе нет!

С устатку Настасья спала крепко, никто ее не тревожил. А когда заполошно вскочила с дивана, Мария, кипятившая самовар, сказала, что механик тоже уехал, что она обежала всех механизаторов, никто не соглашается ехать в Филинскую.

— Коля Красиков прямо матюком послал, бессовестный! — сердилась Мария. — У меня, говорит, колесник, я на третьей версте по уши заруюсь, сам дьявол не вытащит! А на гусеницах у нас один Петька Балукков, да и тот, зараза, в стельку пьяный лежит, не могли добудиться. Я матке Петькиной наказала, чтобы никуда не ходил, не похмелялся. Как прочухается, тут чтобы и ехал. Гришу Симакова возьмете, да и с Богом. Гриша-то согласился ехать и лебедку принас, а боле никто, кроме вас, в кабину не поместится. Ну да однако справятся четыре-то мужика с лебедкой, откапают. К Пашкиной женке так не смела и заглянуть, сказать. Уревится ведь баба: шутка ли, с тремя малолетками осталась без мужика...

Как спешно ни собиралась Настасья, а опять опоздала: Петька Балукков улизнул из дома неведомо куда.

— Сотона, а не парень! — ругалась Петькина мать Марфа. — Сказываю ему: заводи машину, Пашку Еремина задавило в колодце, надо доставать! Поохал: ох, Пашка, Пашка, ни за что погиб, надо помянуть мужика! Только и видели...

— Куда устрекал-то? — опешила Настасья. — Где теперича искать?

— Да где, поди около лавки отирается, где боле? Вчерась Шурка вина машину привезла, так не все, однако, выжрала. А Шурка до обеда не откроет, вот и станут канителиться, благо никакого начальства нет.

Настасья выскочила из избы, подошла к магазину, завернула за угол: на крыльце старухи на все лады обсуждали новость и ругали мужиков, променявших на вино последнюю совесть.

— Не видали Петьку-то Балукова? — спросила Настасья.

— Ошивался тут, да видно к Шурке на квартиру побежал, две бутылки, вишь, ему надо.

Настя тоже было направилась искать продавщицу, но тут она сама подошла к магазину и сказала, что Петьку не видела, видно разошлись дорогой.

— Дай ты, милая, мне эти две-то бутылки! — попросила Настасья. — Петьке горлышко покажу, дак живо срядится, как на поводке уведу!

Шурка подумала и махнула рукой:

— Ладно, пошли!

Едва она открыла магазин и сунула Настасье целлофановый пакет с двумя бутылками, как влетел Петька Балуков:

— Шура, срочно давай на помин души! Две! Ты всех задерживаешь, а у меня трактор на ходу и Гришка Симаков ждет с лебедкой!

— Давай деньги! — буркнула продавщица.

Петька проворно извлек мятые червонцы и переминался в ожидании. Шурка отсчитала сдачу, кивнула на Настасью:

— Скажи ей спасибо, тебе бы ни за что не доверила.

— Выставляй, выставляй!

— Да тут оне, Петенька, у меня вот в сумке. Поедем, родимой, время-то больно много ушло!

Петька, еще не веря, нагнулся, пощупал цветной пакет и хохотнул:

— Ну, бабки! Народный контроль! Лады, поехали! Прорвемся! Часа через три как пить дать в Филинскую прилетим!

— Давно уж тебе бы в Филинской-то быть!

— Вино стубило, дак...

— Совести ни капелюхи нету! — загалдели старухи.

Выехали около двенадцати. Голодная, разбитая передрыгами Настасья изо всех сил держалась за какую-то железину в кабине, оберегая в подоле тяжелый пакет. Временами Петька что-то кричал ей, перегибаясь через Симакова, но сквозь грохот мотора она не могла разобрать ни слова. То и дело на дороге попадались большие, цветущие зеленью лужи, и тогда Петька сворачивал к обочине, а трактор опасно кренился на ту сторону, где у дверцы жалась Настасья. Она ойкала, кричала на Петьку:

— Опрокинешь, сотона! Тихонько!

Но и ее голос тонул в реве двигателя. На высоком крутом пригорке, заросшем яркой травой во всю ширину дороги, трактор остановился.

— Хана! Горючка кончилась!

— Да ведь ты под завязку заправился! — удивился Симаков.

— Это точно. Да у меня, брат, у самого заправка кончилась. Давай, Настасья, вынимай емкость!

— Окстись, Петя! Напьешься, так какой из тебя работник? И не выдумывай, не дам ничего!

— Полно, тетя Настя! Вишь, из меня последняя сила ушла. Башка трещит — спасу нет. Давай, не задерживай, глотнем по стакашку да и поешем дальше.

Тон у Петьки был просительный, лицо бледное, по вискам тяжелыми каплями стекал пот. Симаков молчал.

— Ой, робята, ведь не на свадьбу! — плаксиво сказала Настасья, раскрывая пакет.— Матрена тамока с ума сходит: шутка ли, другой день сын заживо похоронен. Много-то не пейте! — она протянула завернутую в шершавую бумагу бутылку Петьке.

— Какое — по многу! — обрадовался тот.— По капелюхе, заместо лекарства! За помин Пашиной души. Хороший был мужик!

После Симакова Петька выпил полный стакан, торопливо зажевал и, свернув из бумаги затычку, сунул бутылку во внутренний карман пиджака. Еще раз куснув луковые перья, замотал остатки еды в бумагу и взялся за рычаги. И опять трактор подминал густую траву на старой дороге, хлюпал в болотистых низинках. Сквозь запыленное стекло кабины Настасья узнавала знакомые места, а иной раз и не узнавала, до того все на этой, когда-то бойкой дороге, одичало. Она года четыре не бывала на волоку. За спичками, за солью да сахаром ходил хозяин, а хлеб пекил сами: муку возили в деревню по зимняку на весь год.

Когда-то волок был не столь долгим: стояли у дороги еще две деревни, теперь и следка их не означивалось, только зеленые пустоши да две-три старые черемухи показывали то место, где жили люди.

Проехали больше половины пути до Филинской. А там, то ли Петька окосел сверх меры, прикончив бутылку, то ли недавние дожди вдрызг размочили землю у Стремянного ручья, но трактор зарылся в грязь по верхний край гусениц, подергался и встал. Петька, матюкаясь, выскочил из кабины, походил кругом, потом выбрал местечко посуше и сел.

— Да ты что сидишь-то! — заругалась Настасья.

— Не шуми, тетя Настя! — махнул он вялой рукой.— Вишь, засосало. Не повезло, стало быть. Загорать придется...

Гриша Симаков тоже вылез из кабины, походил кругом, увязая в топкой земле, присел сзади, глядя под гусеницы.

— Подкопать надо да сушняку навалить. Может, вытянешь задним ходом...

Настасья сползла на землю, маленькая, с цветным пакетом в руке. Поглядев на безнадежно увязший трактор, сказала:

— Пойдем, мужики, пешком! Километров семь осталось, да и дорога дале посуше будет.

— Придумала — пешком! — ухмыльнулся Петька.— Лебедку-то на плече не поволокешь. А без лебедки — чего там делать? Доставай-ка лучше посудину-то, пивнем да и станем соображать, как трактор вызволить.

— Сиди! Насоображался уж, все рыло перекосило! Связалась с тобой, окаянным! Там человек гинет, а тебе только бы утробу залить! Пойдем, Гриша, поможешь старикам, до ночи-то, глядишь, и управитесь.

— Может, и верно, пешком? — спросил, ни к кому не обращаясь, Симаков.

— А мне, выходит, одному в болотине колупаться? — обиделся Петька.— Говорю тебе: все одно без лебедки ничего там не сделать. Ты, Настасья, топай,— рассудил он.— Оставь горючее, да и топай. Мы тут помаракуюем, авось и вылезем, догоним тебя на волоку.

— Дура была, что и ту-то подала. Посудину ему оставь! Ой ты, кологолик несусветной! Загонил машину в болотину с пьяных-то глаз! Оставляйтесь хоть насовсем! — и, выбирая брод помельче, перебралась через ручей. Слезы заливали лицо, она то и дело спотыкалась о рытвины, невидимые под высокой травой, но ни разу больше не оглянулась. Солнце опять поворачивало на закат, поблескивало на крыше кабины увязшего трактора.

3

Напрасно прождав подмогу все утро, Иван Иванович снова пошел к Хвостову. На Матрену было страшно смотреть: старуха совсем выбилась из сил, лицо опало и почернело, руки тряслись. Вдвоем они насили подняли на опоры колодезный ворот, и теперь, как ни крути, требовались еще одни мужские руки.

Занавески на окнах Миши Хвостова все еще были задернуты, и хотя Иван Иванович знал, что сосед не спит, но и подумать того не мог, чего довелось увидеть. Еще у крыльца насторожил его какой-то стук в избе. Рывком отворил дверь. Деревянная кровать была сдвинута от стены к печи, две половицы, крайние к стене, вывернуты. Хвостов, стоя на черном полу, обтесывал одну из половиц: стук топора и слышал Иван Иванович с улицы.

Увидев соседа, Миша оторопело сунул топор на пол, схватился было за поясницу и тут же опустил руки.

— Разломало, говоришь? — недобро спросил Иван Иванович. — Повернуться не можешь?

— Да ведь хворай не хворай, а дело не ждет. Вовсе замерзаю по зимам, отошла, вишь, половица-то, сплачивать надо...

Иван Иванович дернулся, хотел сказать резкое что-то, однако сдержался, попросил ровно:

— Дойдем до колодца, пособи поперечину приколотить на стояки.

— Приколотить можно, — согласился Хвостов, вылезая на чистый пол. — Только, Иван, я тебе опять говорю: не трогал бы там ничего до милиции. Пашке не поможешь, а самого посадят, скажут, не надо было гнилье шевелить...

— Я тебя шевелить не заставлю, — грубовато, но все еще сдерживаясь, отрубил Иван Иванович.

Вдвоем с Хвостовым они живо подняли поперечину, закрепили гвоздями и скобами. Продернув веревку, намотанную на ворот, через блок, Иван Иванович сделал надежную петлю. Матрена с ведром, к дужке которого была привязана длинная тонкая веревка, толкалась рядом.

— Опустить? — сурово спросил Хвостова Иван Иванович.

— Нет, Иван, — запинаясь, ответил тот. — Еще и тебя придавит. Погоди маленько-то, всяко уж подъедут мужики.

— А ежели с Настасьей чего стряслось на волоку? Еле бродит старуха. Надо бы поискать сходить, да как? Не кинешь все...

— Приедут, ничего. Должны приехать!

— Так не станешь опускать?

— Не стану, Иван. Не возьму греха на душу.

— Ну и катись ты, паскуда, к едрене фене! — расвирипел Иван Иванович. — Спlachивай свои половицы, тетеря недоделанная!

— Ты полегче! Тебе же добра хочу, сам после «спасибо» скажешь! — он повернулся и проворно заковылял к дому.

— Опустить ты меня туды, Ваня! — взмолилась Матрена. — Хоть земельку повыгребаю, да полегче чего выну оттоль!

— Сдюжишь ли? — засомневался Иван Иванович. — Ишь, как тебя извело за сутки — ветром валит!

— Да хоть маленько повыбирать, никакой моченьки боле нет!

— Ладно! — решил Иван Иванович. — Подходи, обяжу.

Матрена продела ноги в петлю, для надежности он еще захлестнул ей веревку подмышками и стал к вороту. Через несколько оборотов ворота веревка ослабла.

— Кидай ведро-то! — донесся глухой голос Матрены.

Закрепив ворот, чтобы не провертывался, он тихонько стал опускать ведро на веревке, пропущенной через блок. Опустил и стал ждать. Наконец долетело:

— Тяни!

Он с усилием подтянул ведро, с краями наполненное глиной, выпал его в стороне от колодца и опять опустил. На этот раз Матрена копошилась долго, он не вытерпел, крикнул:

— Чего там?

— Поднимай!

Иван Иванович натянул веревку, скоро из ямы вместо ведра выплыла отсыревшая половина бревна из колодезного сруба. Петлю Матрена захлестнула неумело, она скользила, только чудом бревешко не свалилось обратно, на голову старухе. Он успел-таки подхватить осклизлый обломок, оттащил в сторону и только тогда почувствовал, как сперло дыхание. Отвязав веревку, он не кинул ее обратно в колодец, а подошел к вороту и стал расшатывать клин, намереваясь поднять Матрену. В это время из глубины донесся истошный крик:

— Пашенька!! Живой!!

Иван Иванович торопливо завертел ворот, через мгновение голова Матрены показалась из ямы.

— Живой...— даваясь рыданиями, вытолкнула она.— Стонет...

— Ну-ка, вылезай! — перехватил веревку рукой, помогая старухе выбраться на настил. Отведя ее в сторону, сам прилег на плахи и крикнул в мозглую темноту:

— Пашка!!

Снизу, будто с того света, но явственно раздался стон.

— А ведь и верно, живой! — возбужденно выдохнул Иван Иванович и, снова нагнувшись над яминой, прокричал, что было мочи:

— Пашка, держись! Достанем!!

Он по-турецки сел на настил, ощупывал дрожащими руками карманы — искал папиросы. Вынув, не прикурил, а выпрямился во весь рост, как вставший на дыбы медведь, угрожающе рявкнул:

— Душу вытрясу! — и широко зашагал к дому Хвостова.

Миша по-прежнему неспешно тюкал топором в своей горнице. Но, видно, в лице соседа что-то испугало его, отложил топор, схватился рукой за поясницу, намереваясь вылезти на чистый пол. Иван Иванович подошел вплотную, поднял топор.

— Ну вот что, Хвостов. Я боле тебя уговаривать не стану. Ежели сей же час на колодец не придешь — порешу! Пашка живой тамока, сам слышал — стонет..

— Да к я чего, Иваныч, я — за милую душу... — побледнев, бормотал Миша. — Живой, говоришь? Гли-ко, что деется... живой...

— Поколупайся еще! — Иван Иванович всердцах всадил топор в половицу чуть не на четверть. Хвостова будто ветром выдуло из избы.

Солнце опять заваливалось к лесу, черневшему позади деревни. Иван Иванович беспокойно скользнул глазами по старой тракторной дороге, по тому месту, где она уныривала в лес и, взойдя на настил, решительно стал одевать на себя веревочную петлю.

— Становись к вороту! — приказал Хвостову. — Опустись меня, потом веревку вот эту кинешь. Ведро-то там осталось? — спросил у Матрены и, не слушая ответа. — На плаху вставай, помогать станешь. Ну, опускай!

Измотанный бессонной ночью и этим днем, которому, казалось, не будет конца, голодный, Иван Иванович выкладывал сейчас последние свои силешки, кидая лопатой землю в ведро, расшатывая зажатые гнилые бревна. Он уже не думал ни о том, что его тоже может засыпать, ни о том, что любое неосторожное движение обрушит остатки сруба на голову Пашки, а только боялся, как бы не отказали руки. Теперь ведро все дольше задерживалось внизу, прежде чем уплыть наверх. Наконец, вымотавшись, Иван Иванович трижды дернул за веревку, которая опоясывала его самого. Натужно заскрипел ворот.

— Фонарь бы... — хрипло выдавил он, хватаясь за настил, — не видать ни хрена...

— Много еще, Ваня? — боязливо спросила Матрена.

— Много... Половицы-то разобрали ли нет ли. И сверху больше сыпаться стало...

Глаза его слезились от усталости, потому он не сразу разглядел Настасью, которая, едва передвигая ноги, брела по бывшей тракторной дороге с целлофановым пакетом в руке. Разглядев, приободрился, крикнул, не дав ей подойти:

— А люди-то где?

— Нету людей, — виновато ответила жена, останавливаясь у кучи мокрой глины. — Петька Балуков с Гришей Симаковым едут на тракторе, да засели на Стремянном. Пьяные оба, дак...

— Как это — пьяные? — не поверил Иван Иванович.

— Да так. Не знаешь, как пьяные делаются? Напились...

Матрена со стоном опустила на землю:

— Господи...

— Ты хоть растолковала им, какая беда-то? Знают?

— Им что — беда! Твердят: все одно Пашка покойник, подождет!

— Да живой он, мать-перемать! Живой!

— Неужто? — выдохнула Настасья и подалась ближе к яме. — Говорено ведь им, дьяволам — торопитесь! Ладно, хоть остатнюю бутылку не отдала, померзнут-померзнут, да прибежат, некуда им деваться.

Появился Хвостов, ходивший за фонариком, поздоровался с Настасьей, разочарованно протянул:

— Никого и не привела?

Настасья только махнула рукой. Иван Иванович отбросил окуроч:

— Сидит наша подмога пьяная у Стремянного ручья. Опуская, Миша, помалу!

Не успели старики поднять и пяток ведер, как тишину вечера пронзил пулеметный треск трактора. Лес за деревней осветился как бы небольшим заревом, потом огоньки проглянули уже на самом извороте дороги. Хвостов, не дожидаясь сигнала, торопливо завертел ворот. Обесиленный, дрожащий от холода в промозглой сырой одежке Иван Иванович и на плахи выбраться не мог; пока не подсобила Настасья.

Трактор взревел последний раз у самого колодца и смолк. Петька Балуков первым выскочил из кабины. Чумазый, с ног до головы заляпаный грязью, он виновато прятал глаза.

— Не откопали? — спросил, ни к кому не обращаясь.

— Слышать уж его, немного осталось,— отдышавшись, сказал Иван Иванович.— Ногу, говорит, придавило, а так целый, бревна-то наискосок легли, спасли...

— Давай, Иванович, выпутывайся из лямки, я спущусь! — деловито сказал Петька и крикнул Симакову: — Ты, Гриша, покамест лебедку наладь, мало ли чего...

Только когда забрезжила новая утренняя заря за раскидистой березой на краю Филинской, мужики подняли бледного, без кровинки в лице, Пашку. Но еще блее, чем лицо, была его голова: столь седых людей Ивану Ивановичу не доводилось видеть на долгом своем веку...

СОДЕРЖАНИЕ

Варежки	1
Танцующие березки	12
Старый дом	21
История	31
Половодье	44
Беда	48

ЕЛЕСИН Василий Дмитриевич

ПОЛОВОДЬЕ

Рассказы

Редактор *А. А. Цыганов*

Художник *Э. В. Фролов*

Сдано в набор 09.11.98 г. Подписано к печати 16.11.98. Формат 70x108/₃₂.

Бумага писчая. Гарнитура «Гарамонд». Усл. печ. л. 2,8.

Печать офсетная. Тираж 500.

Вологодская писательская организация.

160000, Вологда, ул. Ленина, 2.

ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

ВОЛОГОДСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

подготовлены и выпущены в свет следующие книги:

Александр ЦЫГАНОВ
«ПОМЯНИ МОЕ СЛОВО»

Роберт БАЛАКШИН
«ЧЕЛОВЕК-РЕКА»

Николай ДРУЖИНИНСКИЙ
«НИТКА СЧАСТЬЯ»

Юрий БОГОСЛОВСКИЙ
«КАЗАЧИЙ ШТОСС»

Николай ТОЛСТИКОВ
«ПРОЗРЕНИЕ»



А вот и она, березонька наша, на которую Галя ленточку голубую повязала. Весь ствол не только что глазами, руками ощупал — нет ленточки, хоть и не мог растрепать ветер три крепкие узелка. Вдруг на том месте, где ленточка была, надрез заметил, старый, глубокий. Сок березовый из него выступил, будто слеза Галинкина...

«ВОЛОГДА • XX ВЕК»

Василий ЕЛЕСИН

«ПОЛОВОДЬЕ»

ВОЛОГДА • 1998